

Алексей ГРИГОРЕНКО

ЛЕШЕК МАРШАЛОК

**Сказ о том,
как воссоединилась с Россией Украина козацкая
и как сгинула Речь Посполитая панская¹**

Глава 1. НЕКТОНАПОЛЕОН

Да-да, именно так звучало имя моего дяди, старшего брата матери и ее близняшки-сестры, тети Каси, которые боготворили Нектонаполеона Язловецкого, — мать в течение своей довольно короткой жизни, тетя Кася же дожила почти до 100 лет и даже в преддверии перехода в вечную жизнь и спустя 70 лет после окончания той страшной войны, в которой дядя и сложил свою голову, неустанно напоминала нам, что это именно он, их старший брат Нектонаполеон, спас мир от фашизма ценой собственной, навеки молодой жизни. Признаюсь, что по малолетству своему, в детстве, в отрочестве, да и в первой юности, когда я наконец-то оторвался от нашего дома и обширного двора в Кобеляках, куда мои родители, Маршалки, каким-то затейливым манером попали с Урала, а на Урал — еще в военные годы — бежали по не совсем понятным причинам с Волыни, — хотя и пережили там немецкую оккупацию, — и вот когда немцы оставили край, тогда-то и стронулись мои юные папа с мамой в обратную сторону, далеко на восток, в холодную и суровую Россию. Еще раньше, когда война неожиданно началась, тетя Кася успела записаться в армию санитаркой, но раньше нее Нектонаполеон отправился добровольцем на фронт. Хотя, если разобраться, какой там фронт был на Украине летом того злосчастного 41 года... Мама потом не раз говорила: брат просто отправился погибать. Да это и понятно: в последних числах июня, когда уже под Дубно и Луцком горели советские танки, расстреливаемые, будто бы в тире, из тяжелых mortир неприятеля, — спустя целую жизнь я нашел у военных историков точные цифры потерь в той крупнейшей танковой бойне в первые дни войны: 2648 советских танков (85% из находившихся) погибли тогда против немецких 260 машин... Нектонаполеон оставил отчий дом Язловецких в родовом селе польских осадников Доминополе, каким-то чудом пробрался в Луцкий военкомат — и исчез навсегда. Вскоре Волынь и почти всю Украину заняли немцы. Стал Нектонаполеон, можно сказать, сакральной жертвой, — но я уже позже гораздо осознал это. Кася же в санитарных эшелонах под непрерывными бомбежками «фокке-вульфов» и свинцовым дождем «мессершмиттов» докатилась до самой Москвы, бинтуя раненых и вытаскивая на полустанках тела мертвецов, затем уж обратно, когда фортуна отвернулась от храбрых солдат Третьего рейха. По пути, можно сказать, посмотрела на Красную площадь, и позже — увидела Польшу, в которой от веку никто из наших Язловецких совсем не бывал, даром что числились мы поляками в паспортных книжках. А там уже и до Берлина она добралась.

— Тетя Кася, — надоедал я ей комаром, — расскажите о Польше — какая она?

— Лешек, — отвечала мне тетка, — там все было разрушено, выжжено... Да и что я там могла разглядеть из окна санитарного эшелона. А если бы и могла, то никакого

¹ Прим. ред.: литературно-историческое повествование Алексея Григоренко с именованием «Лешек Маршалок» публикуется «Невским проспектом» в качестве продолжения по основной тематике и проблематике историко-эпической «Кости раздора», опубликованной в №№5-7 НП.

времени на разглядывание у нас не было: в полях смерть, в поезде тоже смерть и страдания, крики и стоны солдат... Лет 40 я пыталась все это забыть, а тут ты со своими вопросами...

Так и жили мы в Кобеляках, на полпути от Кременчуга до Полтавы. Тетка с мужем отправились лет на 20 на Сахалин за трудовыми свершениями, приближающими светлую зарю коммунизма, а наша семья влекла серую и унылую жизнь в провинциальном, вполне себе сельском поселке, где — прямо по-гоголевски — по проулкам бродили тощие грязные свиньи в поисках пропитания, гуси и утки гоготали в ставках, по утрам те, у кого были коровы, выгоняли их в местное стадо за Ворсклу, вечером же все повторялось в точности наоборот. Мирное течение времени, обыденность и приземленность его никого вовсе не угнетала: люди радовались, что нету войны — и это было главным и определяющим умелой политики Никиты Хрущева, тогдашнего нашего всесоюзного «голова».

Правда, уже к началу 1970-х годов папа рассказал мне, что в те времена, когда мне было семь лет, мир наш едва не погиб от новой войны с применением атомного оружия: пока мы пели в школе на уроках пения «Куба — любовь моя, остров зари багровой» под чутким дирижированием Петра Ивановича Сыроватко, эта самая Куба и стала камнем преткновения между Хрущевым и Кеннеди, — но дело не срослось. К счастью, политики одумались, ракеты, которые наш Никита уже успел втихаря разместить на «острове свободы», чтобы удобнее было атаковать Флориду и тамошних капиталистов, вернули обратно в Союз, американцы тоже убралась из Турции, где занимали стратегические позиции, и все быстро забылось, былшем поросло. Да и что там особенно говорить? Ведь кроме «нот протеста» от ТАСС по поводу американской агрессии и злобных намерений капиталистов по удушению добродушного бородача в камуфляжной куртке Фиделя и кубинского народа в целом, выбравших социалистический путь развития, до среднестатистического человека в степях Украины, в сонных наших Кобеляках, где градообразующим предприятием был филиал лубенской одеяльно-войлочной фабрики имени Розочки Люксембург, что могло докатиться, что могло быть слышано?.. Газеты барабанили об успехах, о жатве, о запуске новых мартинов в Магнитогорске, о победах строителей коммунизма, ну и о космосе, само собой, — там уже побывали двое наших советских парней, Гагарин с Титовым. Ну и вот пара «нот» от ТАСС между всем этим, победным вполне, — никто и не разобрал, о чем разговор, откуда и почему «отсель грозить мы будем шведу» и в чем там дело вообще. Громоздкие радиоприемники, смахивающие на платяные комоды, в ту пору если и ловили на коротких волнах какие-то русоязычные зарубежные станции, то вряд ли кто-то их слушал. Да и радиоприемники, а тем более телевизоры, мало у кого были. Разве только у директора «Розочки» товарища Парнокопытенка была трофейная радиодиа, которую он припер на горбу из Черновцов, когда комендантствовал там и отлавливал бойцов военных формирований Степана Бандеры. Но мы с продвинутыми друзьями, тусуясь в 1971 году на набережной Ворсклы и уже вкусив от музыкального запретного плода, добытого посредством новомодной «спидолы», меньше всего могли представить себе, что Панас Миронович мог слушать какую-нибудь «Свободу» во время «Карибского кризиса», а не спать кверху брюхом под серым листом «Социалистической индустрии», так и не дочитав очередное коммюнике.

Папа мой, похоже, сам додумался до осознания того, какая страшная перспектива ожидала всех нас, если бы Никита уперся бы с теми ракетами. И если простые американцы все-таки извещены были о «красной угрозе» и спешно копали бомбоубежища, запасались продуктами длительного хранения и водой, готовясь к самому худшему, то что знали мы?.. Кому мы были нужны? Папе потребовалось около десяти лет, чтобы хоть что-то понять, вычитать между строк, проанализировать жалкие крохи туманных намеков и умолчаний. Да и независимая радиодификация к тем временам уже пришла в Кобеляки в виде переносных дефицитных приемников «ВЭФ», «Океан» и «Спидола». А я думаю иногда: а если бы все это произошло — каково было бы мне, семилетнему, сгореть заживо или истаять от губительной радиации ради торжества коммунизма и товарища Фиделя Кастро с его бородой, с которой не упал ни один волос до мирной и почетной смерти его в «мафусаиловом веке»?

И самое странное, что нахожу я в себе, — равнодушие. Да-да, именно так. Ну, исчез бы я, семилетний, — ну и что? Не осталось бы никакой памяти обо мне, как не осталось памяти о моей старшей сестре Агнешке, которая родилась в 1949 году и умерла через полгода в далекой Уфе от какой-то простецкой болезни, которую, полагаю, можно было бы и излечить. Если бы не житейская и бытовая простота моих родителей вроде «Бог дал — Бог и взял», — но ведь было в них и еще что-то, некая военная или послевоенная огушенность, — ведь неспроста же они из Доминополя, с Волыни, утекли до уральских предгорий, и даже вернувшись на Украину к середине 50-х годов, никогда на Волыни больше и не были, — Днепр стал для них непреодолимой прегра-

дой, отделяющей их прошлое от настоящего, войну от худосочного мира, волынскую доверчивую юность от трезвой и опасливой взрослости в Кобеляках. Когда требовалось — только молчать. А еще лучше — и вовсе забыть.

Вспоминался дома разве один только Нектонаполеон и особенно во время ежегодных приездов в отпуск тети Каси с дядей Тодосем. Тут они угощали нас сахалинскими чудесами: невиданной красной рыбой, икрой, консервированными морскими ежами и крабами, которые изготавливали в секретных цехах подальше от посторонних глаз на плавбазах в открытом Охотском море специально для откорма членов Политбюро. Дядя Тодось был снабженцем в порту Корсаков, потому и перепадало ему от сахалинских деликатесов. Крохи, брызги даров развитого социализма долетали и до нас в Кобеляки. Спасибо.

Выпив по рюмке «клоповки» (это еще один из сахалинских эндемиков, такая красная, чрезвычайно вонючая, но столь же и полезная ягода «красника», в просторечии зовома «клоповкой», настоящая на спирте), сестры вспоминали Нектонаполеона, каким они его запомнили еще до войны. Но понятно, что детским этим воспоминаниям присуща была обрывочность, туманность, идеализация светлого образа старшего брата, сгинувшего без следа в огне ради того, чтобы его младшие сестры жили в мире, который он им завещал и который отправился защищать, чтобы близняшки выучились в техникумах, затем вышли замуж и родили детей — меня и мою сестру Касю, если не считать старшей Агнешки, и у тетки — Сташек-Стани слав и Данута.

И как-то мама моя в таком вот родственном застолье расслабилась от второй или третьей рюмки «клоповки» и сказала:

— Кася, а помнишь, как перед самой войной, когда Волянь только-только стала советской, Нектонаполеона забрали из дому и посадили в тюрьму?..

Мне уже исполнилось к тому времени 14 лет, я уже услышал ранние записи группы «Битлз» и уже всюю влюблялся во всех сельских девчонок, кого только можно было встретить на улице, но о герое войны, моем дяде Нектонаполеоне, такое слышал впервое.

— В тюрьму? — переспросил я ошарашенно. Но ответа я не дождался.

— Эдита, — сказала тетя Кася, — зачем ты при Лешке говоришь такое о брате?..

Понятно, что во всем была виновата «клоповка», размягчившая спиртовыми парами женские память и чувства. Но слово, как говорится, не воробей, вылетит — не поймаешь, и через какое-то время я вынудил маму все мне рассказать.

Конечно, «все» — это громко сказано, но и того, что нашла необходимым и вынужденным рассказать мне она, меня вполне удовлетворило. Тогда. Но через много лет история с Нектонаполеоном в довоенной Воляни послужила для меня первым шагом в моих исторических изысканиях, которые в свою очередь едва не привели меня тоже в тюрьму в славном городе Киеве, уже в середине 1980-х годов.

А ведь — смешно сказать, ей-Богу, — дело было всего лишь навсего... в имени. Вот из-за него и забрали Нектонаполеона в энкавдэшный застенок. Следователи допытывались у сельского парня о тайне его странного имени. Били его по лицу. Защемляли пальцы дверями. Не давали спать. Грозили Колымой, Магаданом, Сибирью...

— Признавайся, как на духу, Язловецкий, — какое отношение ты имеешь к Наполеону?..

— А я знаю? — отвечивал дядя. — Спросите у моего отца...

— Знаем мы эти прихваты, — не пальцем деланные, контра, — твой отец давно уж в могиле, а был бы в достижении социалистического правосудия, ответил бы по всей строгости закона!..

— А что за закон такой? — спросил дядя. — Октябринами, Вилами, Виленами называть детей можно, а Нектонаполеонами — не?.. Покажите мне официальный запрет!..

Надо ли говорить здесь о том, что пытки его только усугублялись такими ответами. Но, как ни странно, статью за антисоветскую агитацию и пропаганду все же не припаяли: не он же сам себе дал это имя, действительно. Был бы жив мой дед Тадеуш Язловецкий — ему бы и нести заслуженное (или незаслуженное) наказание за не к месту и не ко времени помянутого французского императора.

Позже я рассказал эту историю моему приятелю и дворовому соседу Сероштану, и мы, разгуливая от нечего делать по набережной Ворсклы, начали припоминать в этой связи коммунистические имена, так или иначе прозвучавшие в воздухе минувшей эпохи. Владлены и Сталины были довольно общим местом, а вот Дасдгэс — это имя нас со Сероштаном изрядно повеселило: таково было сокращение лозунга «Да здравствуют строители ДнепроГЭСа!», ставшее именем какого-то бедолаги на широкой груди нашего нерушимого Союза.

Дядю, изрядно потрепанного, выпустили из тюрьмы. Разве что по-дружески и от доброго чекистского сердца посоветовали на всякий случай имя сменить. Может быть, он так бы и поступил, чтобы не быть белой вороной в черной коммунистической стае,

но тут случилось 22 июня, вовсе не предугаданное великим вождем советских людей, — Нектонаполеон 23 июня отправился в военкомат и оттуда в настоящую мясорубку, называвшуюся почему-то фронтом, которого и не было вовсе. Сестры-близняшки не только его больше никогда не увидели, но даже не услышали о нем ничего до самой смерти — Нектонаполеон канул как в воду.

Я в 1970-80-х годах питал некие вполне себе романтические иллюзии, иногда фантазировал о сгинувшем дяде: он выжил в войне, попал на Запад — то ли в пленении, то ли еще каким-то манером, остался там в лагерях «ди-пи», не выданных союзниками Сталину, где-то осел, может быть, перебрался за океан, и кто знает — может быть, завтра или послезавтра мы получим от него письмо с яркими марками... Но тут же я понимал, что никакого письма не стоит ждать — даже если все так благостно, как я нафантазировал: он ушел воевать с Волыни, так откуда ему знать об Уфе, о Сахалине, о Кобеляках, о Кременчуге, где после возвращения с Сахалина осела семья тети Каси?.. Но все же ежемесячно просматривал краткие сообщения от всесоюзной Иньюорколлегии в газете «Известия» о поисках наследников, умерших за границей бывших граждан СССР, волею судьбы оказавшихся за океаном.

И только несколько десятилетий спустя, когда и мама, и долгожительница тетя Кася, и мой папа с дядей Тодосем давным-давно сошли в могилу, и на киевской кухне, в новых беспокойно-безумных уже временах, я в очередной раз прикоснулся к этому окаменевшему семейному мифу о Нектонаполеоне, как жена моя Лика, набившая к тому времени руку на поисках дальних родственников, бежавших от революции в Шанхай и Харбин, взяла ноутбук на колени и в два клика обнаружила следы нашего легендарного семейного небожителя в полуистлевших (умозрительно, разумеется) рапортах о погибших с Курской дуги:

Фамилия: Язловецкий

Имя: Некто Наполеон

Дата рождения/возраст: 1918

Место рождения: Волынская обл., с. Доминополь

Дата и место призыва: Луцкий РВК

Последнее место службы: ЦентрФ 1263 азан

Воинское звание: ст. сержант

Партийность: б\п

Причина выбытия: умер от ран

Дата выбытия: 20.05.1943

Первичное место захоронения: Курская обл., г. Курск, кладбище, Заастраханские ворота, 3 пояс.

Тут примечательно, что штабной писарчук решил исправить кажущуюся ошибку и разделил имя дяди на две части. В другом же документе описано немного детальнее: «ранение в живот проникающее», поступил в госпиталь 17 и умер 20 мая.

Но до всего этого мне надо было прожить целую жизнь и лишиться буквально всего: и родителей, и профессии, и многих друзей, умерших, спившихся, уехавших прочь с Украины в поисках лучшей доли, просто потерянных в новых во всем временах или же застывших в каком-то странном анабиозе, где основополагающими элементами стали странные приметы минувшего: пломбир за 13 копеек и газвода за копейку из общественных автоматов, свидетельствующие о том светлом мире, который мы потеряли в 1991 году, — и главное, лишиться иллюзий, смириться с тем, что пепел воспоминаний твоих не только остыл, но и окаменел. И вот — снова Нектонаполеон пронизал слежавшиеся пласты векового покоя, беспамятства, горького сожаления об ушедших родных, из которых он был первым, отправившимся на войну и пропавшим там, — чтобы мы — весь наш род Язловецких, Маршалков и Яницких — через его раннюю смерть поняли нечто чрезвычайно важное, наднациональное и даже надмирное, чего, может быть, до известной поры невозможно даже выразить словом, но которое, как Нектонаполеон своей смертью дал нам понять, все-таки существует помимо нас и даже помимо того, отдаем ли мы себе в этом отчет, или же понимаем.

Но это все — после, спустя эпоху, когда я уже даже годами пережил свою мать. А тогда... Вот о том и рассказ.

Глава 2. 400-ЛЕТИЕ КРЕМЕНЧУГА И ЧТО ЗА ЭТИМ ПОСЛЕДОВАЛО

В 1971 году нежданно-негаданно для всех обитателей левого берега Днепра грянул маленький юбилей — 400-летие основания соседнего города Кременчуга, привольно раскинувшегося на днепровском берегу на самом краю нашей Полтавской области. Местная партийная верхушка зашевелилась — надо ведь было как-то на это реагиро-

вать: увязать с освободительными устремлениями угнетенного украинского крестьянства против помещиков и латифундистов, со светлыми грезами их же, угнетенных крестьян, о победе трудового народа и всеобщим благоденствием под скипетром прежде русских царей, а спустя несколько веков под промыслительным серпом и молотом генеральных секретарей коммунистической партии Советского Союза. Активные «дописувачи» «Кременчугской зари», в народе прозываемой попросту «брехунцом», переквалифицировались в местечковых краеведов-историков, заскрипели перьями и вскоре выдали партийным радетелям о благе народа некую информацию, из которой наспех слепили книжечку «Кременчуг», которую я и приобрел на свою беду в будущем; в Киеве изготовили памятный значок на засаленные лацканы пиджаков каждому сведомому коммунисту и передовику производства, а доморощенным скульптору и архитектору Сидоренку и Котляру заказали 18-тиметровую стелу, которую в следующем году и возвели напротив горкома партии на площади Революции. Стела, составленная из 4-х нержавеющей труб, каждая из которых символизировала, надо полагать, одно из столетий, увенчивалась, само собой, серпом и молотом как последней и непререкаемой истиной, добытой на протяжении всего исторического пути юбиляра, промышленного флагмана советской Украины.

Стоит вдогонку сказать и о том, что сегодня, через 30 лет после обретения Украинской державой «выплеканной» (или выплаканной все-таки?) независимости от внешних врагов, коммунистов и москалей, после беспокойных 90-х годов, когда одни погибали от рук бандитов, другие богатели, а третьи попросту помирали по непонятным причинам, причем массово, надо сказать, о чем со всей непреложностью свидетельствуют наше кобелякское и кременчугские кладбища, до нынешних правителей Кременчуга наконец-то дошла мысль о том, что серп и молот на стеле, все так же — «через годы, через расстоянья» торчащей бельмом напротив бывшего горкома КПСС, а сегодня городской мэрии, нарушают закон о декоммунизации, по которому не только по всей Украине повалили все памятники Ленину, но и памятники Пушкину вкупе с памятниками генералам-победителям Отечественной войны. Во Львове на всякий случай даже бронзового первопечатника Ивана Федорова, который на собственную беду при Иване Грозном бежал в Червоную Русь и возобновил там типографское дело, убрали долой, скрыв во дворике исторического музея от рьяных националистов, которые на полном серьезе исповедовали простецкую мысль о том, что, возможно, печатник Иван коммунистом все-таки не был, но то, что его заслали опричниками и бояре в вольную Украину колонизировать и создавать из русинов тех седых лет «пятую колонну», — тут и к бабке, как говорится, не ходи. Только вот мало кто ведает ныне, что в те времена никакой Украины, как ее мыслят сегодня, вовсе не существовало.

Короче, собрали Кременчугскую городскую думу и единогласно приняли решение о демонтаже преступного символа угнетения с маковки юбилейной стелы. Историческая справедливость вроде бы восторжествовала. Но тут встал с задних рядов какой-то буювед в пиджачишке, обсыпанным перхотью, и сделал некое уточнение:

— Товарищи депутаты, а шо вы ото про авторское право забыли?..

— Шо-шо?.. — удивились тут народные избранники, впервые услышав о таком юридическом термине.

— А то, шо если мы поломаем серп и молот на стеле, то тем самым нарушим другой закон — об авторском праве. Архитектор со скульптором шо-то ж имели в виду, када ото водружали на утэги четыре трубы с нержавеющейки символику союза рабочих с крестьянами?.. — гнул свое знаток украинских законов.

— Отож... — подытожил кто-то из народных избранников.

Тут городская рада озадачилась коллективно и поняла, что не все так просто в «датском королевстве» и что государственные законы, встретившись на нынешней площади Незалежности, в которую она превратилась после переименования из Революции, противоречат и взаимно исключают, как ни странно, друг друга. После вялых прений и традиционного «тjukanья» с «шоканьем» было принято такое решение: разыскать авторов стелы и утрясти с ними возникшее недоразумение. Да только где их, Сидоренка и Котляра, ныне найдешь? На кладбище? В Израиле? А может, даже, Господи сохрани, в Америке? Но — ничего не поделаешь — надо искать. Кажется, и до сих пор не нашли их следов. Да и что тут сказать — стелу возвели в 1972 году, и с той поры минуло, страшно подумать, полвека. И трезубец, новый государственный символ, который собирались заменить злосчастный серп и проклятый молот, ржавеет в подсобке бывшего горкома КПСС. Но закон есть закон — авторов ищут.

Обо всем этом не стоило бы и говорить, если бы я в свете всех этих вполне локальных событий не начал тогда же читать эту книжечку о Кременчуге, еще пахнущую свежей типографской краской, — и первое, о чем я там вычитал, что основал Кременчуг как пограничную крепость на границе Дикого Поля при короле Сигизмунде-Августе Ягеллоне какой-то «Ю. Язловецкий». Конечно, мама, урожденная Язловецкая,

вместе с папой, Маршалком урожденным, объяснили мне, что основатель Кременчуга вряд ли приходится нам даже отдаленным предком и родственником: во-первых, он был, скорее всего, высокородным аристократом, старостой значительного и важного города Речи Посполитой, имевшего в подчинении немалые военные ресурсы и множество вооруженного люда. Иначе как бы он мог основать город на левом берегу Днепра, на границе Дикого Поля?.. А мы, доминопольские, а теперь уже кобелякские Язловецкие-Маршалки — да кто мы такие?.. Разве что предки наши были холопами у тех, настоящих, польских панов?..

Несколько десятилетий моей жизни я истратил на то, чтобы раскрыть некую тайну нашего однофамильца Ю. Язловецкого, и вот краткий итог, из которого я намеренно исключаю героические факты его жизни как *до* основания Кременчуга, так и *после*, и ни слова не говорю о его сыне Николае, тоже весьма значительном лице и герое военной истории Речи Посполитой, — ради краткости своего повествования: «...Ежи Язловецкий, назначенный в 1569 году великим гетманом коронным, провёл реорганизацию обороны южных польских границ. Вместо тяжеловооружённой кавалерии, малоэффективной в борьбе с крымскими татарами, ввёл подразделения лёгкой конницы. При нем в пограничной службе стали активно использоваться украинские козаки. Козацкий отряд из трёхсот человек был включён в состав королевской пехоты...» и т.д. и т.п. — так рассказывалось в Википедии.

Вот тогда-то, объезжая с военной инспекцией южные рубежи, на одном из изгибов Днепра, ввиду давно известной удобной речной переправы, коронный гетман и распорядился заложить крепостицу, которую только спустя более чем полвека возвел знаменитый французский фортификатор Гийом де Боплан. Да папский посланец Эрих Лясота, когда в 1594 году вез из Киева по Днепру императорское австрийское золото для запорожцев, для того чтобы вовлечь их в очередную войну против Османской империи, ночевал здесь и в своих записках оставил свидетельство о «старом земляном замке» или же городище.

Так что родители мои мало что смогли объяснить мне, да это и понятно вполне. По моей неотступности и полному отсутствию каких-либо достоверных исторических сведений, мама с натугой пыталась припомнить историю нашего рода, краем уха слышанную то ли от деда Тадеуша, то ли от самого Нектонаполеона, то ли от бабки Ядвиги: доминопольские Язловецкие, как, впрочем, и Маршалки, были вроде как *осадниками* с какого-то сегодешнего столетия — вот и все. А кто такие «осадники», мама сказать не могла. Пришлось мне заниматься поиском ответа и на эти вопросы, да и то спустя целое десятилетие после помянутого кременчугского юбилея. Это сегодня — в эпоху интернета — все просто: набрал в поисковой строке вопрос — и тут же всемирная сеть выдает тебе квалифицированный ответ. В пору же нашего отрочества-юности-молодости да и взрослости тоже ответ на простецкий вопрос следовало добывать чуть ли не киркой и лопатой: прежде всего профильно и серьезно учиться, месяцами сидеть в книгохранилищах главных библиотек СССР, включая Ленинскую и Историческую в далекой Москве, откапывая в словесной и книжной руде минувшего времени драгоценные крупинки того, о чем накрепко было забыто.

400-летие Кременчуга и жалкая книжечка, изданная к этой дате, определили мое будущее: я твердо решил стать историком и поступать после окончания школы на исторический факультет Киевского университета. Хотя родители почему-то были против моей затеи, подсознательно чувствуя опасность и проблемы, сопряженные с этим занятием. Другими словами, благодаря полубогатырскому Ежи Язловецкому, коронному гетману времен Сигизмунда Августа, который, между прочим, чуть не стал королем Речи Посполитой после смерти последнего, — его кандидатуру поддерживала часть шляхты и даже турецкий султан Селим II, — и, как ни странно, моему дяде Нектонаполеону, я осуществил близкий свой план: поступил и окончил истфак Киевского университета и стал тем, кто я есть, — ненужным специалистом с ненужными знаниями и подозрительными занятиями, перебивавшимся что в 80-е годы, что в 90-е, что ныне, в 2000-е, случайными заработками, торговлей газетами на Крещатике, рецензированием графоманских рукописей в нескольких республиканских журналах, уборкой станции метро «Арсенальная» и тому подобными малопочтенными занятиями... Ну, о деталях я распространяться не стану — просто еще раз вынужденно признаю всегдашнюю правоту своих многочисленных почивших родителей: надобно было искать для себя другое применение в жизни. Как тут не вспомнить горькие слова книги Экклесиаста: «Во многой мудрости много печали; кто умножает познания, умножает скорбь».

Но тогда, когда мы со Сероштаном только-только закончили нашу кобелякскую общеобразовательную школу №2, ведомы ли были нам эти слова? Да если бы я и знал о них, что бы мог я к этому приложить, кроме неумемного своего рвения прежде познать, а затем и переиначить заскорузлый колхозный мир, в котором мы влекли свои дни на берегах Ворсклы? Все, даже и какая-то мудрость, приходит со временем. Там

же сказано и о камнях: «Время разбрасывать камни, и время собирать камни», — и что я делал во время учебы в университете — собирал или разбрасывал умозрительные «камни» своей жизни? А ведь простого ответа нет — и собирал, и разбрасывал одновременно. И что я делаю ныне, пытаюсь разобраться с давно прошедшими днями — не только со своими, но — шире — с судьбой народа, к которому крохотным, едва различимым эоном принадлежу по неисповедимому промыслу Божьему. Собираю ли я — или разбрасываю?.. И ведь на это не могу я сказать ничего определенного.

Тут надобно обратиться к прошлому веку, к советской истории, преобразившей не только землю, но и человека, чтобы самому хоть что-то понять в извилистых путях собственной жизни.

Глава 3. ПЯТАЯ ГРАФА СОВЕТСКОГО ПАСПОРТА

В 1960-70-х годах, в пору нашего школьничества, первой любви и, может быть, смешных наивных юношеских исканий и порывов, генеральный секретарь Леонид Брежнев, сменивший поклонника кукурузы и Фиделя Кастро Никиту Хрущева, выдвинул идею о том, что пришла пора не просто отменить в паспорте 5-й пункт о национальности, а по-простому указывать в нем однозначно: «советский человек». Да и что говорить, резоны для того имелись довольно существенные: в 1920-30-40-е годы, ознаменовавшиеся невиданным кровопусканием и гекатомбами жертв государственного террора, коллективизации, голода и Отечественной войны, когда все мало-мальски значительные «классы» и сословия были разгромлены и попросту уничтожены, когда национальные литературы, если о таковых можно вести условный, скажем мягко, разговор, свелись к воспеванию акынами мудрости товарища Сталина, а подрастающий послевоенный народ чуть ли не силой выкорчевывался из родной почвы, добровольно-принудительно отправляясь на комсомольские стройки в Заполярье и на Дальний Восток. Молодые специалисты, едва получив новенькие дипломы, ехали по распределению за тысячи километров от родных гнездовых, — так, к примеру, родители моей жены Лики, инженеры-строители по образованию, до пенсионного возраста поменяли пять мест жительства и работы — от Дальнего Востока до Мордовии, — конечно, ни о каких прочных связях, человеческих или же метафизических, не могло быть и речи: человек всегда и всюду был «временным», «прикомандированным», «варягом», «приезжим», а следовательно, ненадежным, а в столичных городах — так просто прерренным «лимитчиком». В чистом виде это легче было проследить на судьбах военных: «Дан приказ: ему — на запад, ей — в другую сторону...», три года в Венгрии, три года в ГДР, год на Кубе в радиоразведке — это если есть мохнатая рука «помогающего» тестя с большими звездами на погонах, а ежели нет, так на точке в красноярской тайге, или в латвийском лесу, или на Земле Франца-Иосифа с белыми медведями... Тут и маму родную забудешь! «Рассказы бабушки», сказки Арины Родионовны, преданья старины глубокой, связь с малой родиной — все это оставалось даже не в прошлом, а просто переставало существовать, как будто и не было. Вымарывалось из памяти, вычеркивалось из веселой будущей жизни на плотинах гидроэлектростанций, на БАМе, в Сургуте, на северном Сахалине. Сами кремлевские небожители прежде водворения в царских чертогах проходили по этим ступеням — прочь навсегда от родных деревень, родных металлургических мартефов и слесарных мастерских, — чтобы крепче забыть обо всем в новой реальности. Преодолевать даже национальность: Грузия Иосифа Джугашвили осталась разве что в пристрастии к хорошим винам и лобио, а вот товарищ Буденный — разве остался он донским казаком? Или Каганович — ортодоксальным евреем? Или пресловутый «всесоюзный староста» Калинин — русским?.. По метафизической сути? Ответы здесь очевидны вполне. Многонациональный народ и прежде всего русский — под этим определением я подразумеваю как русских, так и украинцев с белорусами — намеренно перемешивался гигантскими лопастями умозрительной тестомесильной машины в некую однородную массу, чтобы ничего своеобразного и оригинального не оставалось ни в ком: недавние сельчане, крепкие былыми религиозными и общинными традициями, уже во втором поколении забывали родное наречие и даже язык, мусульмане, оказавшись вне горных аулов, пускались во все тяжкие с прежде запретным алкоголем и разгульными сексуальными приключениями; татары в Москве, Ленинграде и в Ханты-Мансийске уже во втором поколении утрачивали язык; про городскую Восточную Украину нечего и говорить — восстанавливать край после военной разрухи приехали отовсюду миллионы людей — молодые специалисты на различные предприятия, военные, инженеры, строители — да ведь и мои родители из Уфы приехали в Кобеляки не так просто, но по комсомольскому набору какому-то; флагманы социалистической Украины, такие как Кременчугский автомобильный завод, ударными темпами возводили для молодых инженеров из Горького и Ярославля целые жилые районы с прилагающейся инфраструктурой — от громад-

ного Дворца культуры со стадионом до детсадов и яслей, — из торгового еврейского местечка, где на несколько православных храмов и единственный костел одних только талмудических синагог насчитывалось более шестидесяти, да еще плюс девять еврейских училищ-ешив, — Кременчуг на глазах превращался в современный город, и хотя еще курились красной кирпичной пылью развалины на берегах Днепра, оставленные отступавшими частями вермахта, но уже угадывались очертания нового города. На месте Успенского собора, взорванного то ли немцами, то ли нашими, со временем поставили памятник Ленину. А новенькими отдельными квартирами заманивали иногороднюю техническую молодежь оставить убогие клоповники и коммуналки в Ярославле и в Горьком и приехать сюда строить большегрузные автомобили... И так было повсюду. Украинский язык сохранялся где-то в глухих степных углах, а в Кременчуге разве что использовался на базаре при торге с сельскими бабушками да в самодеятельном хоре Павла Отченаша в ДК КрАЗ, неоднократном лауреате всяческих псевдонародных конкурсов песни горлом и пляски вприсядку. Примерно такая же судьба постигла и идиш, стремительно забытый детьми Сиона после всех треволнений коммунистических преобразований и минувшей военной поры.

Мы со Сероштаном как-то разговорились об этом:

— Лешек, — сказал он, — ты же поляк?..

— Ну, вроде того, — ответил я.

— А по-польски разговаривать можешь?

Тут я крепко задумался — но отнюдь не припоминая нескольких польских словечек, застрявших у меня в памяти, чтобы блеснуть перед другом. Неожиданно я почувствовал некий провал в душе у себя, некое странное, незнакомое чувство: действительно, а кто я такой?..

Дома задал вопрос родителям, но и они польский язык уже крепко забыли со времен Доминополя. Ну да, мама еще смогла припомнить пару детских песенок, под которые они с тетей Касей засыпали, когда бабушка Ядвига пела над их колыбельками.

— Мой отец знал и помнил язык, — сказал папа, — в костел даже до советов ходил... Потом уже костел закрыли, а там и война...

За ненужностью все это было довольно быстро забыто — и язык, и вероисповедание, — да и как в чужеродной, можно сказать, во враждебной среде можно было что-то сберечь, сохранить?..

Этот малозначительный на первый взгляд разговор со Сероштаном тоже стал, как прежде выуженное о неведомом нашем однофамильце Ю. Язловецком в книжке о 400-летию Кременчуга, «камнем, который отвергли строители» и который затем сделался «главою угла» — уже моей жизни. Да, эти «строители», замесившие человеческое тесто в коммунистической костодробительной бетономешалке, сделали все, чтобы воплотить в жизнь две из трех составных известного лозунга — о *равенстве братстве*, — потому густобровый наш генеральный секретарь Брежнев и выдвинул свою прогрессивную идею о том, что назрел уже час и пришло долгожданное время объявить о новой наднациональной общности по наименованию «советский народ», о чем и делать в паспортах соответствующую надпись. Но несколько поспешил: в Политбюро и в ЦК задали ему резонный вопрос о национальных республиках числом 15, не считая автономных краев и республик помельче: Узбекская, Таджикская, Литовская и далее по списку — как же быть с этими устоявшимися названиями, как и во что их последовательно переименовывать — ведь они и так уже имманентно «советские»? Да и как ни работала от души и с полной отдачей десятилетиями советская тесто-мясо-кровосмесительная машина и разудалая коммунистическая пропаганда, а ведь и сегодня между дехканином из занесенного песком аула в Каракумах и горделивым потомком латышских стрелков в каком-нибудь Резекене — непреодолимая пропасть, — стало быть, «товарищи на местах выразят свое недовольство»... Оно и понятно. Это вам не космополитическая Москва, «город-сказка, город-мечта, попадая в ее сети, пропадаешь навсегда». Так что товарищу Брежневу пришлось отступить, и национальности в 5 пункте «краснокожей паспортины» остались до срока «исполнения пророчеств». Сегодня, когда я все это пишу, чаемые пророчества, можно сказать, исполнились, СССР провалился неизвестно куда, и в паспортах молодых, независимых ни от кого государств на дымящихся от крови обломках его, про национальности уже нег ничего. Трудно сказать, каким образом это влияет на развивающиеся экономики, освободившиеся от диктата московских правителей. По крайней мере от гражданских войн и конфликтов отмена графы о национальности в паспортах не уберегла.

Тогда же, после вполне себе проходного разговора со Сероштаном в нашем дворе и после невразумительных ответов родителей, я, может быть, впервые задумался о столь важных и вовсе не детских вопросах, которые непреложно встали передо мной: кто и откуда я есть? Зачем я живу? Ну и, конечно же, в чем смысл моей жизни? — как же без этого. И больше не от чего было мне танцевать, словно от печки, кроме как от полу-

стертой, забытой монеты, которую давным-давно изъяли из денежного оборота и где различим был белый польский орел с золотыми когтями, в золотой же короне. Отделяли ли меня от того, чем я жил до этого? От моего друга, бумагомарателя и будущего литератора Сероштана, вскоре навсегда уехавшего из Кобеляков в неведомую Москву? От Шони? От Вовушана, Вадюры и прочих моих кременчугских приятелей? От зареченских пацанов из совхоза «Красный свиновод», с которыми мы то прятельствовали, то враждовали? Трудно сказать однозначно. Но что-то в душе у меня сдвинулось и в уме начало все-таки проясняться. Тут яркими и до времени не совсем понятными вспышками присутствовал и мой дядя Нектонаполеон, и Ю. Язловецкий с сыном своим Николаем, и безгласное до поры польское прошлое нашего рода в Доминополе. В Кременчуге я разыскал почти не разрушенный войною костел характерной архитектуры с двумя башнями-колокольнями — значит, жило здесь много поляков, раз потребовалось построить костел?.. Но где они сами или где их потомки? Уже из книг мне было известно, что наши левобережные поднепровские земли в числе множества других принадлежали знаменитому графскому роду Потоцких, которые славились знатностью, неслетными богатствами, историческими деяниями и всем остальным, о чем можно только помыслить. Сказать, что таких людей больше нет — ничего не сказать.

Дети, воспитанники, а затем и творцы великой и славной эпохи великого государства... Под Кременчугом на Полтавском шляхе есть большое и богатое село Потоки, принадлежавшее некогда одной из ветвей этого рода и сохранившее в наименовании былую графскую спесь. Сероштана в детстве еще отправили в автозаводский пионерлагерь, который располагался на берегу Псла, как раз под Потоками. Кажется, и сегодня в каком-то урезанном виде лагерь этот все еще существует. И он рассказывал, как они с пацанами в высоком ковыле на старом заброшенном кладбище нашли полуразрушенный склеп с пробитой гробокопателями дырой и что на могильной старинной плите еще можно было различить польскую надпись латиницей. Сегодня ни того старого кладбища с разграбленным польским склепом нет, как нет и того обширного поля, лежавшего между околицей села и автомобильной дорогой, ведущей в Полтаву, Решетилровку и Кобеляки: поле плотно застроено кременчугскими дачами еще в конце 80-х годов.

Как бы там ни было, но никаких следов от бывшего совсем не осталось. Кроме разве что вроде бы польских фамилий, заканчивающихся на «-ский», вроде «Полонский», «Островский», «Ковальский» или же «Ковалевский», но и относить их строго к нынешней Польше можно весьма условно, конечно, и если устроить небольшой информационно-социологический опрос их обладателей, почти все отрестятся с изумлением от предполагаемых польских корней: забыто все навсегда.

Я же, новообращенный и вполне себе дилетантствующий историк, оказавшись за студенческой партией в Киевском университете имени Тараса Шевченка, продираясь сквозь густые дебри обязательных политэкономии, истмата и научного коммунизма, отцеживал друг за другом попадавших мне меленьких «комаров», буквально пробивая толщу вроде бы «национально-освободительных» восстаний, движений и революций, на поверку оказывавшихся заурядными разбойничьими бунтами, вроде знаменитых Разинского или же Пугачевского с открывшейся возможностью привольно пограбить и порезать до времени поимки и казни, поэтически воспетыми спустя несколько столетий творцами «социалистического реализма». Русские бунты, «бессмысленные и беспощадные» по меткому замечанию Пушкина, все-таки онтологически отличались от восстаний отечественного, так сказать, разлива, хотя и малороссийские, и запорожские козаки, правобережные гайдамаки и сельские хлопцы с Волыни не отказывали себе в возможности поразбойничать и поозоровать от души. Одна Уманская резня 1768 года, в которой погибло около двадцати тысяч евреев, поляков и униатов, чего только стоит. Но при внимательном рассмотрении причин и хода этих восстаний «трудового народа», скажем с использованием устаревшей марксистской терминологии, все-таки просматривалась какая-то едва уловимая и не совсем понятная сверхзадача. И если восстание Криштофа Косинского 1591 года против князей Острожских, некоронованных властителей православной по вероисповеданию части Речи Посполитой, преследовало довольно прозаические и весьма частные цели, а именно требование, подкрепленное вооруженной рукой, увеличить количество реестровых козаков и приравнять их к шляхетскому, т.е. благородному, сословию, то последовавшее за ним восстание Павла, или же Северина, Наливайка уже в зародыше имело прообраз всех будущих местных козацких восстаний, к 1648 году переросших в полномасштабную национально-освободительную войну под началом Богдана Хмельницкого, закончившуюся, как известно, тем, что едва ли не треть государства Речи Посполитой, именно ее православная часть, называемая Польской Украиной, или же Южной Русью, откололась долой и отправилась в дальнейшее плавание по бурному океану времени и истории под управлением других уже кормчих — православных московских царей.

В том-то и крылись причины: начиная с Наливайковского восстания 1594-95 годов, народные движения, восстания, а затем и отчаянная, сокрушительная война времен Хмельниччины являлись по сути своей религиозными, как и предшествовавшие им за столетие до того знаменитые западноевропейские войны времен Высокого Возрождения.

Глава 4. В КИЕВЕ, НА ОСЕННИХ БУЛЬВАРАХ

В чем же была здесь причина, — размышлял я, бродя под высоченными каштанами осенних бульваров, спелые плоды которых со стуком падали на асфальт («каштаны падают на брук — тук-тук...»), сидя на лавочке на роскошном, отстроенном Сталиным после войны и никогда не спящем Крещатики, глядя на рослых красавиц с глазами в половину лица, с каштановыми и русыми косами, перекинутыми между крепких и крупных молочных желез, буквально разрывающих неумной природной силой своей светлые тонкие кофточки в ожидании извечного природного предназначения, слушал невнимательно гомон молодого народа в модных «клешах» и заморской «джинсе», обрывки разной музыки из переносных магнитофонов, мерцание иллюминированных витрин продуктовых и промтоварных магазинов, клаксоны проносащихся «жигулей», «москвичей» и «ГАЗ-24», — да-да, в этих одиноких своих вечерах я размышлял, как ни странно, о сокровенном токе нашей истории, шире — о горестной в сухом остатке истории Речи Посполитой, почти что империи, которая в свое время даже превосходила размерами Московскую Русь и которая в полтора века просто сдулась по неким причинам, которые мне как раз и следовало осмыслить, понять, и исчезла с политической карты тогдашней Европы.

Конечно, что греха таить, все эти годы, проведенные в Киеве, я ощущал себя словно бы в некоем вакууме, где можно было невозбранно и относительно свободно размышлять о ухмылках, гримасах и непреложности происходивших когда-то событий, — на этих блистательных улицах, спусках, горах, украшенных золотыми шеломами храмов, на местном «бродвее», в этом мягком, сладком воздухе первоосеней, когда едва схватываются позолотой коричнево-зеленые широкие листья каштанов, в этом чужом вольном воздухе, напоенном некими метафизическими несбыточными и мажущими обещаниями, — я был совершенно чужим и ненужным, и не только потому, что я недавно-давно приехал на пригородно-местечковом раздолбанном паровозе из спящих вечным сном Кобеляков в сокровенном оглушающем мраке малороссийской ночи, не потому, что водворился в общаге на Борщаговке, в кособокой комнате на четверых добрых молодцев, выходцев из Опoшни, Лебедина и Недогарок, будущих, как и я сам, учителей истории в сельских школах на Закарпатье или где там еще. Нет, — но в этой моей случайности и ненужности здесь присутствовала какая-то неведомая мне раньше свобода: куда-то идти, с кем-то разговаривать о пустяках, что-то забытое, важное и порой потрясающее читать в тихих залах Национальной исторической библиотеки, в этой Мекке книгохранилища исторических книг, расположенной в самом сердце древнерусской же письменности, в Киево-Печерской лавре, где в ту пору совсем не было монахов, а Лавра была отдана на откуп музею.

В этих бесцельно-блаженных блужданиях мне как-то хорошо думалось обо всем. Началось же чуть ли не в первый вечер приезда из Кобеляков: выпив для храбрости стакан портвейна-777 и оставив своих новых знакомцев-соседей по комнате допивать то, что осталось, и затем еще добавлять, я выбрался с Борщаговки в этот блистательный мир Крещатики, на котором я совсем ведь не нужен был никому, который как жил своей сокровенной жизнью без меня, так таковым и пребудет, когда я уеду отсюда куда-нибудь под Винницу научать детлахов из колхозов тайнам происхождения и создания Киевской Руси, рассказывать о междуусобицах удельных князей, про «Русскую правду» и, возможно, даже про то, «кто Кирова убил», хотя это-то вряд ли. Ну это все — к слову, конечно, ныне я прилагаю. До этого еще следовало дожить: 10 сессий, куча экзаменов во главе с диаматом и научным же коммунизмом, история социалистической Украины и руководящая роль партии во всех этих делах, тщательный комсомольский и партийный присмотр за будущими историками с отчислением сомнительных и ненадежных студентов... Защита диплома на животрепещущую и важную тему чеканной поступи коммунизма на отжившие исторические формы минувшего...

Главное и новообретенное чувство, которое накрыло неожиданно меня и весьма озадачило в эти осенние мои выезды из борщаговской общаги в одинокие и вроде бесцельные шатания по Крещатику, по Печерску, близ Лавры, на Андреевском спуске, на Поскотинке в виду бескрайнего днепровского плеса — совершеннейшая моя неспособность слиться, как говорится, в экстазе со всем тем, что меня окружало: прежде с моими одноклассниками, затем с этим народом, природными киевланами, текущим нескончаемой человеческой рекой по Крещатику, — эти несравненные девушки, прохо-

дящие мимо меня, навсегда и окончательно исчезают в пространстве, и мне уже не суждено ни одну из них больше увидеть, эти ребята-ровесники — доморощенные философы и поэты, художники и музыканты, — никто и никогда не станет мне другом, увы, наподобие кобеляцкого москвича Сероштана, — все это, разнонаправленное, острое, непокойное было, сказать метафорически, сродни кончику гвоздя, торчащему в ботинке, который тупо кровянил ступню, и, может быть, мысли были только об этом одном, — и принять в душу и насладиться красотой этого великого и прекрасного города попросту не представлялось возможным во всей полноте и со всей благодарностью за чудо пребывать здесь, все это видеть, ко всему этому прикасаться. Но если ботинок можно снять и как-то исправить проблему с гвоздем — в конце концов можно ботинок просто выбросить и пойти по мостовой босиком, то что делать с самим собой, со своей душой, я просто не знал. Болото, в котором пребывала моя душа, всегда оставалось со мной, куда бы я ни держал путь с Борщаговки — на Крещатик, в Историческую библиотеку, на побывку домой в Кобеляки...

Я был подобен капельке масла, которая не могла смешаться с водой. В Кобеляках, может быть, все это тоже жило подспудно во мне, как до известного срока тает лед болезнь, прежде чем проявиться болью или недомоганием, но обострилось именно в Киеве, в этих вечерних блужданиях в чужих улицах, расцветенных во тьме желтыми бликами фонарей, исполненных чужими воспоминаниями, чужими тревогами, дерзаниями и неведомыми порывами, к которым ни я, ни моя жизнь не имели касательства. В душе у меня сквозила пустая дыра — и я не мог самому себе объяснить, откуда и почему она появилась. Почему я не мог стать таким же, как все, — да хотя бы таким, как хлопцы из заречного «Красного свиновода», не говоря уж о продвинутых чуваках с киевского «бродвея»? Почему я стал еще в Кобеляках плохим комсомольцем, сомневающимся в том, во что свято верили практически все, и знаменем этой веры служили, чтобы не говорить пространно и долго, слова генсека Хрущева о коммунизме к 1980 году?..

— Ты что, самый умный? — задал мне на засыпку вопрос старлей Логунов, командир нашей роты в пору моего пребывания на срочной службе в зенитной части под Николаевом. Правда, восстановить причину этого вопроса сегодня уже не представляется возможным: я просто забыл, в чем там дело и было. То ли в непотребных разговорах в курилке, то ли в письме к Сероштану я что-то ехидное написал о здешних нравах армейских. И продолжил: — Только сумасшедший не верит в советскую власть! Ты — сумасшедший?.. — я, естественно, отрицал предполагаемый медицинский диагноз старлея. — А то, смотри у меня, Маршалок, — запрем тебя в дурку, будешь там глядеть на небо в клеточку, в сером халате ходить, и будут тебя серой в зад колотить!..

Все это, мелкое, незначительное и ничтожное, как сам сгинувший без следа старлей-воспитатель Логунов, до срока забытое, вставало в памяти, — но ладно бы в памяти, это не было бы бедой и чем-то существенным: память можно задвинуть в темный угол, но тут речь шла о душе, о какой-то неутолимой жажде ее, о пустоте, которую нечем было заполнить. Ну, что в юности рядом находится, кроме портвейна и друзей, как собутельников, так и единомышленников? Ответ простой и понятный — девушки и сопряженные с ними утехы и удовольствия, а то и, не дай Бог, любовь. И в этом я тоже искал какого-то утешения.

Конечно, что греха таить, я ринулся как в потребление горячительных напитков, так и в объятия доступных друзей противоположного пола. Но и этот выход оказался вполне иллюзорным: довольно скоро девушки начали меня раздражать — и прежде всего паразитической приземленностью, глупостью, а затем и стервозностью, стоило едва начаться каким-либо долговременным отношениям. Здесь тоже обнаружилось просто навалом дешевой мишуры, позолоты, иллюзий и лжи, которыми прикрывался извечный корыстный расчет. Ну, об этой стороне моей киевской жизни я умолчу, чтобы кого-нибудь ненароком не обидеть. Хотя с той поры прошло добрых лет сорок — и где теперь и каковы те мои девушки, от которых даже имен в памяти не осталось, кроме разве одной лишь Галюни?

Глава 5. С ЧЕГО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

И в этих моих угрюмых блужданиях по Киеву вспомнился вдруг давний наш разговор со Сероштаном:

— Лешек, — сказал он, — ты же поляк?..

— Ну, вроде того, — так я ответил тогда...

Тут-то, в виду барочной Андреевской церкви, на спуске, чуть ли не под домом Михаила Булгакова, в котором тот жил во время Гражданской войны и который затем описал в «Белой гвардии», мне и открылось это злосчастное мое «вроде того».

Все во мне — моя сокровенная суть, мое сознание, бессистемное чтение, беспри-

мерная каша в моей голове, мои беды и негаразды и были следствием этого «*вроде того*».

— Лешек, — спросит меня в свое время Господь или кто там еще, с кем встречается душа человека после того, как тело умрет, — ты — жил?

— Вроде того... — так я отвечу.

— Ты хотя бы любил?

— Вроде того... — так отвечу я снова, но и буду готов еще и подискутировать о том, что есть любовь, и о чем, собственно, этот странный вопрос.

Да, я любил родителей. Я любил Ворсклу и в целом наши тихие Кобеляки. Так же и Днепр я любил. Любил своих Кась-Катерин-Катажин, сестрицу и тетку в Кременчуге. Любил стройных, длинноногих и длинноволосых девчонок и все, сопряженное с ними. Я любил курить папиросы «Казбек» и выпивать с кем попало. Любил западногерманскую группу Сап за их необычную музыку, ни на что непохожую, и вообще, надо сказать, любил «краут-рок». Я любил «Шум и ярость» Уильяма Фолкнера, перечитывал этот роман несколько раз... Любил созерцать закаты в августе месяце... Но, честно сказать, многое я как раз не любил. А о чем вообще разговор?..

— Что есть в тебе, Маршалок, кроме ничтожества твоего? Кто ты такой?.. — неотступно звучали вопросы во мне. Не от Бога, конечно же, — как я могу дерзнуть даже помыслить о Боге, но от некоей сущности, живущей если и не во мне, то по крайней мере пребывающей где-то рядом. Может быть, и верно было бы назвать эту сущность, изнутри терзающую меня будто когтями и не дающую покоя, ангелом-хранителем? Хорош же тогда ангел — вместо того, чтобы *хранить* меня, как положено, безжалостно мучает, озадачивает, ставит вопросы, на которые нет ответов...

— Да я вроде того...

Вот в том все и дело: в этой моей приблизительности, в моей неспособности разобратся хотя бы с собой, с тем, чего я хочу, на что я надеюсь. И, правильно, — кто я, по сути, такой?..

И прежде ответа на этот вопрос следовало ответить на вопросы помельче: ты, Лешек, — этнический поляк, но что польского, кроме крови, в тебе есть еще? Ни языка, ни католического исповедания веры, ни знания хотя бы азов истории Польши нет в тебе, кроме имени и фамилии. Что ты знаешь о польских *осагниках*, которыми были твои дальние предки? Что произошло в Доминополе, если родители до сих пор категорически отказываются вспоминать о тех временах? Почему, в конце концов, у твоего дяди было такое странное, если не сказать похлеще — дурацкое — имя Нектонаполеон?..

Надо было начинать строить самого себя, свой внутренний мир, и полагалось начало это, как кажется, в осознании собственной национальной идентичности. Ну а с чего еще, если на то пошло, начинается Родина? Ведь я мог сколько угодно иронизировать за кружкой кременчугского пива «Желтый аэроплан» в генделике на берегу Ворсклы над новой брежневской идеей о «*homo soveticus*», или «человеке советском», которой снимались любые национальные ограничения, трения и непонятки нашего тогдашнего желеобразного общества, грозящего внешнему миру разве что ракетами «СС-20» и дулей в кармане, — но сам я — по сути — уже стал именно таковым «советским человеком», как и замышлялось головным идеологом СССР товарищем Суловым, доточно проводящим в жизнь чеканную формулу «буревестника» революции Горького:

«...большевики во главе с Лениным производят жесточайший научный опыт над живым телом России, русского народа, русского пролетариата. <...> цель „опыта“: перерелка живой человеческой материи...»

И при всем верхоглядстве моем и вроде как и продвинутости, я оставался вполне себе своеобразной «инфузорией-туфелькой» — человеком, который затруднялся ответить на простецкий вопрос о собственной национальности (которой не было, как ни странно это звучит), о собственном вероисповедании (об этой пещерной дикости нечего было и поминать, разве что проснувшись от ночного кошмара), и о том, чего он, кроме высокой зарплаты, квартиры и «жигулей», хочет от своей жизни и этого мира. Живя в Кобеляках и временами наезжая за покупками в Кременчуг или в Полтаву, наблюдая народ на базаре и в очередях за дефицитным товаром, мы (или все-таки я — буду говорить за себя) вовсе не различали каких-либо национальностей в человеческой толкотне. Все мы были вроде бы одного онтологического замеса: теми самыми готовыми «гомо советикусами», как я уже сказал, и выделялись на этом монолитном и сером человеческом фоне одни только цыгане, компактно проживавшие в своем герметичном мирке в Великой Кохновке — во главе с бароном, с золотыми зубами во ртах, гаданиями по руке, мелким воровством и мошенничеством. Ну, если приглядеться внимательнее, можно было с неким трудом вычленил из этой безликой человеческой массы разве что нескольких старых евреек, и то по специфической ближневосточному облику и говору с весьма сильной одесской отдушкой, или активизи-

стов-общественников вроде нашего Почетного чекиста Сократа Ивановича Фрумкина, который все детство и юность не давал нам покоя, организовывая пионерские форпосты в кобелякских послевоенных бомбоубежищах, наблюдал за идеологической незаметностью подрастающего поколения и писал куда надо — от Кобелякского отдела КГБ до многотиражки «Красного свиновода» — разоблачительные письма о вредителях и шпионах, оставленных немцами при отступлении в 1943 году, — а вот еврейская молодежь, наши ровесники, была совершенно неотличимой от нас. Разве что в школе получше учились чернявые. Мне, к примеру, потребовались десятилетия, чтобы с удивлением обнаружить, что несколько моих довольно близких приятелей, неожиданно отбывших в Израиль и в Западную Германию, оказались евреями. Как и старые большевики-ленинцы Фрумкины, отбывшие в Мюнхен мстить своей нескончаемой жизнью за Холокост и погромы.

А я и не знал!..

Этнически — в теории — в нашей небольшой ойкумене на берегах Псла, Ворсклы и Днепра — жили всего три народности: украинцы, русские и евреи. О мелких вкраплениях вроде растрованных, практически ассимилированных поляков, подобных нам, молдаван и грузин с азербайджанцами можно совсем не говорить, ввиду совершеннейшей микроскопичности их присутствия здесь. Так, по слухам, в Кременчуге в 18-й школе училась Клава Мамед-заде, да и то мать ее была украинкой, а залетного отца никто никогда не видал. Когда там же, уже в 25-й школе, появился красавец Ваха Гзелешвили, непонятно откуда и зачем привезенный родителями, то даже в Кобеляках среди пацанов обсуждалась такая невероятная новость, а кто-то даже ездил в Кременчуг поглазеть живьем на грузина. По крайней мере, первая красавица жилгородка Наташа Некрасова немедленно сделала выбор, которого от нее годами чаяли все кременчугские хлопцы, жившие вокруг автозавода, и стала девушкой Вахи, — и новоивановские, как и чередниковские, слесаря-хулиганы не решились даже набить Вахе морду, как принято было в те времена, когда на Левобережной Украине катастрофически не хватало женского пола, потому что Господь только Ему одному ведомыми путями неустанно восполнял убыль мужчин, миллионами полегли на полях недавней войны, и у наших матерей, начиная с 1947 и по 1965 года, рождались исключительно одни мальчуганы.

Так что начинать надо было с себя, с поисков, так сказать, национальной идентичности, — да это, по сути, и лежало ближе всего, само, можно сказать, шло в руки, начиная с 400-летнего юбилея Кременчуга с Ю. Язловецким, его основателем, и нашего, надеюсь весьма несколько горделиво, отдаленного предка и родича, с прочитанной юбилейной книжонки, да и сгинувший Нектонаполеон с какого-то времени как-то странно беспокоил меня, непонятно, с чего и к чему.

Глава 6. ПОЛЬСКОЕ ЖАЛО В ПЛОТИ

В Киеве начало в голове у меня кое-что проясняться. Или я просто начал взро-слеть? От надуманных сложностей и неразрешимых дилемм переходить к простому, к эмоционально неокрашенным фактам, трезвое отношение к которым и должно было стать определяющей чертой в моей будущей профессии.

Хотя, если разобраться по-честному, историческое знание (я тут постараюсь избежать такого наименования, как «наука») всегда до чрезвычайности субъективно. Вот к примеру: монгольское нашествие на Киевскую Русь в 13 столетии — чем было — злом или благом? Чингисхан, которым древнерусские матери пугали детей, — предтечей антихриста был или же национальным героем монгольского народа, которому в центре Улан-Батора воздвигнут помпезный памятник и чей день рождения является государственным праздником и выходным? Кем был Ленин? Сталин? Товарищ Мао Цзедун? Ведь и сегодня мнения обо всех этих исторических деятелях полярны, различны, и споры не утихают. И смею предположить, и не утихнут совсем никогда. Никакие логические доводы, никакие факты здесь не работают — все бесполезно... Серго Берия в книге воспоминаний «Мой отец Лаврентий Берия» создает едва ли не ангельский образ папаша, и весь деготь, доказывает он, это злонамеренная ложь и очернение, — и что объективно можно этому противопоставить? Ведь Серго Лаврентьевич знал папу получше, чем историки, биографы и почитатели судьбоносных решений 20-го съезда. Да, был, так сказать, «разящим оружием пролетариата» — но такова эпоха была, и он просто исполнял чужие приказы. А с домашними был ласков и мягок... Так что все весьма и весьма относительно — и «нет пророка в своем отечестве». Да что говорить сегодня с этим всесметающим, сносящим башню девятым валом информации, обрушиваемым интернетом, телевидением и прессой на бедную голову обывателя, на свою беду, задавшего невинный вопрос в строке поиска во время утреннего чаепития на крошечной кухоньке, если даже в отдаленную эпоху до всяких масс-медиа уже греме-

ли полемические баталии среди историков: «О злокозненности Геродота» Плутарха чего только стоит?... Да и просто навскидку здесь все: из кучи разных фактов историк выбирает только те, что укладываются в «прокрустово ложе» некоей отвлеченной теории, возникшей в его голове. Те же злокозненность и пристрастие ставились в вину Фукидиду, выпячивающему одни события-факты и затушевывающему другие, неприятные для политики Спарты, в которой он, афинянин, и завершил свои дни. История, как таковая, становилась «романом Дюма» — к великому сожалению. Да и как, спрашивается, поступать с этими монбланами событий и фактов?... Только отсекай лишнее, вменять ни во что и как бы и не бывшее. Так и творится историческая «наука»...

Но я в некоем полемическом задоре, увы, забрался слишком в высокие эмпирии — ни у кого из нас, студентов исторического факультета КГУ им. Тараса Шевченка конца 1970-х годов минувшего века, не было таких вот глобальных амбиций, чтобы сравнивать себя с Геродотом, Фукидидом и с примкнувшим к ним Ксенофонтом. Да что тут греха таить: не каждый из нас еще и читал «Анабасис» вкупе с «Историей Флоренции», а знакомство с античностью часто начиналось и заканчивалось, в лучшем случае, «Занимательной Грецией» Михаила Гаспарова, написанной для непонятно каких детей, но при этом весьма замечательной книгой, которую и сегодня я временами перечитываю и, скажу прямо, люблю.

Речь же я все пытаюсь вести об идентификации себя самого в контексте гулкой пустоты и убогости тогдашнего времени, позже окрещенного «эпохой застоя», своей, так сказать, утраченной, пшепрашем, «польскости».

Трудно все-таки обозначить начало процесса, как я уже и пытался сделать это с 400-летним юбилеем Кременчуга и основателем оного Юрием (точнее же — Ежи) Язловецким. Или с моим дядей Нектонаполеоном. Или с доминопольскими осадниками Язловецкими, Маршалками, Яницкими и другими. Но где-то там, в тех смутных годах моего слепого отрочества, и следует искать первую неприметную вешку, которая стала чем-то вроде живой клетки, кристаллика, вокруг которого иросло разветвленное коралловое дерево, или же сталактит, как угодно. Прежде мертвое, несуществующее в вакууме коммунистической Украины и умелого, вполне себе удавшегося «жесточайшего опыта над живым телом России», научного опыта по селекции «советских людей», помалу ожило, пробилось, дало о себе знать, и уже в Киеве оформилось в нечто совсем неожиданное, — во что же — трудно определить, — я ведь так и не смог стать поляком, католиком и оголтелым националистом, с презрением и ненавистью относящимся как к украинцам, так и к русским, которые в совокупности принесли моей вполне себе гипотетической отчизне, Польше, и ее государственности невероятные потери и поражения, — нет, но я стал пристально размышлять об этих событиях, об этих горьких уроках исторической судьбы, кажется, самими поляками так и не понятыми.

Моя отстраненность, моя даже не то что утерянная национальная идентичность, — она исчезла в нашем роду Маршалков-Язловецких еще два-три поколения назад, — как ни странно, придавала всем этим размышлениям над страницами исторических хроник некоторую объективность, — так мне, по крайней мере, казалось, — потому что эмоциональная составляющая всех прежних порывов, лежавших в основании мятежей и восстаний поляков против Российской империи, насытивших по бесславному завершении их ссыльными поселенцами обширные пространства от Санкт-Петербурга до Тихого океана, давным-давно иссякла и выдохлась. Я стал, не ведая вовсе о том, вполне «советским», природным интернационалистом, рабочей скотинкой социалистического государства с трудно определяемыми целями. Коммунизм к 1980 году наши руководители просто прогадали. Придумали глобальное новое — очередные семимильные шаги к ускользающему коммунизму: продовольственная программа, поворот северных рек в Среднюю Азию, Горбачев еще что-то ляпнул о полете на Марс... Рассмешил до колик голодный «советский народ». Тем и жил я, как и все в те года. И уже немислимы, даже в частном порядке, были такие сцены середины 19-го столетия, памятные с детства некоему мемуаристу, когда мать-полька в числе всех прочих рыдала в голос, когда, как по какой-то команде, все присутствующие в костеле мужчины и женщины бросились на колени во время пламенной проповеди ксендза — но не о Боге, не о Христе, не о соблюдении заповедей, а о судьбе Польши, русской Полонии, которая своими страданиями искупает грехи и неправды всего мира, подобно распинаемому Христу, но Польша — воскреснет, как воскрес тридневный Христос!.. — и вместо благодарственных молитв после причастия весь обездоленный, глубоко несчастный, гонимый и притесняемый, но гордый народ запел гимн несуществующего к тому времени более века Польского государства...

Примерно о том же рассказывает в своих воспоминаниях Л.Ф. Пантелеев. После гибели в Варшаве 13 февраля 1861 года во время антиправительственной демонстрации пятерых человек в Петербургском университете начались волнения. На панихиду

по погибшим в Варшаве в костеле Святой Екатерины на Невском проспекте собрались не только поляки, но и множество русских студентов, сочувствовавших польской борьбе. Национальное единство поляков и их фанатичный национализм поразили русских. Когда запели польский гимн, «все поляки во мгновение пали на колени, и надо было видеть возбужденное выражение их лиц! Одни, точно изваяния, стояли со взором, обращенным к алтарю, у других ручьем лились слезы».

Так было, — и все это прошло.

Эта моя безэмоциональность теперешняя, некая отстраненность и вековая оторванность от польской почвы не только моя, но и всего нашего рода, как ни странно, придавали поискам моим некоторую объективность, расчищали взгляд от естественных нагромождений иллюзий, национальной гордыни, способствовали осмыслению реперных точек и точек же невозврата и в конце концов осмыслению причин глобального краха Польши как государства в 18 веке.

Но тут снова я забегаю вперед.

Глава 7. ЗАБЫТЫЕ КНИГИ

Началась моя студенческая страда, с многотчием, размышлениями и естественным, как ни парадоксально, отторжением марксистских трактовок исторических процессов. В университетской библиотеке я раздобыл старый учебник «Истории Польши», который готовился в Москве при жизни Сталина, а издали же его в год моего рождения. К примечательной книжице этой прилагалась и добротная карта с точными границами Речи Посполитой в разные периоды существования государства. Я как-то ни о чем таком не задумывался, пока эта карта не попала ко мне в руки и пока я внимательно ее не рассмотрел — и был, надо сказать, поражен: оказалось, что после слияния двух государств — Литвы и Польши во время Люблинской унии 1569 года — Речь Посполитая стала крупнейшим государственным европейским образованием, превосходящем даже Московскую Русь до знаменитых походов Ивана Васильевича Грозного. Восточная граница Речи Посполитой проходила... под городом Тулой.

Если бы ныне прочесть о таком, вполне уместно было бы предположить чей-то злой умысел и русофобскую клевету. Но массивное учебное пособие извода 1955 года в бордовом коленкоровом переплете, с подробнейшей картой трудно заподозрить в том, что ныне стало обыденным и привычным, — в злонамеренной лжи. Я помню свое тогдашнее изумление, если не сказать больше. Говоря другими словами, от польских пограничных засек до стольного града Москвы насчитывалось всего 200 верст...

К этому времени в Европе папы римские словно очнулись от сна, когда под ногами их начала гореть земля, и папа Павел III в 1545 году собрал церковный собор в городе Триденте, который продолжался с перерывами почти 20 лет, до 1563 года, и закрылся в понтификат Пия IV. Этот собор стал одним из важнейших соборов в истории католической церкви — он и считается отправной точкой Контрреформации. На нем были выработаны тактика и стратегия противостояния и борьбы с протестантами. В эти жернова попали заодно и православные, живущие в Речи Посполитой. Европа же довольно давно сотрясалась от локальных религиозных конфликтов католиков с протестантами, и хотя до настоящего обострения дело еще не дошло, и до знаменитой Варфоломеевской ночи в Париже оставалось всего-навсего три года, а до Тридцатилетней войны и того больше, Речь Посполитая являла собой на удивление мирное зрелище в том религиозном пожаре, в который проваливались друг за другом соседние государства: на ее землях благополучно сосуществовали не две, как на Западе, а целые три христианские ветви: католики, протестанты и православные, не считая иудеев и магометан. Современники, свидетели бесконечных распрей и религиозных войн в «цивилизованном мире», когда даже в извечно нейтральной Швейцарии за различия исповедывания символа веры могли запросто перерезать горло или же посадить на кол, с завистью и почтением называли Речь Посполитую *«державой без вогнищ»*. Но при всем этом благополучии в Великом княжестве Литовском, конечно же, происходили некие подспудные процессы. Как же без этого? К здешним вольностям и религиозным свободам, спасаясь от преследований, бежали из Австрии «чешские братья», из Испании и немецких княжеств — гонимые антисемитизмом сефарды и ашкенази. Последние, правда, не занимались прозелетизмом, чего не скажешь о протестантах, которые отнюдь не сидели сложа руки, чем и донныне весьма отличаются: новообретенную и выстраданную истину о том, какой же должна быть «настоящая» церковь, отрешившаяся от условностей тысячелетних обрядов, заковавших настоящую, по их мнению, веру в непроницаемую броню, эти новые граждане Речи Посполитой и Великого княжества Литовского отчаянно проповедовали во всех городах и селениях своей новой родины. Миссия, можно сказать, имела успех: к последней четверти 16-го века в лютеранство перешло более 40 процентов великопольских парафий. Ненамного от-

ставали и другие земли Речи Посполитой: в Малой Польше и Галичине бо льшей популярностью, чем лютеранство, пользовался кальвинизм, и к концу 16-го столетия, к первым козацким восстаниям, в Малопольше и Русском воеводстве действовало от 206 до 297 кальвинистских обществ.

Все эти свободы — равноправие католиков, православных и протестантов — гарантировались государственным привилеем от 7 июня 1563 года, а в 1573 году Варшавская конфедерация провозгласила вообще повсеместную свободу вероисповедания, закрепив за Речью Посполитой статус самой веротерпимой страны в Европе. Но понятное дело, что государство не могло существовать в вакууме и в некоей изоляции, да и протестанты, спасающие здесь жизни от погромов и войн в родных пределах, без устали «открывали глаза» и «проповедовали истину» как природным полякам с литвинами, так и русским.

Но не все остались довольны свободой, дарованной с царского (а вернее, с барского) плеча. Ситуация постепенно усугублялась и становилась прямо-таки угрожающей еще и потому, что с течением времени в протестантство переходили можновладные магнаты и латифундисты, особенно же в Литве. Так князь-канцлер Николай Радзивилл Черный вместе со своим двоюродным братом Николаем Рыжим одним из первых среди магнатов порвал связи как с католичеством, так и с православием. Поначалу он интересовался лютеранством, затем вступил в переписку с самим Кальвином. В 1557 году основал в Вильне первую на литовских и белорусских землях протестантскую церковь, а еще через три года отдал кальвинистам все наличествующие храмы в своих обширных имениях от Несвижа до Шидловца. Надо ли говорить, что за сиятельными верховными правителями и братьями Радзивиллами последовала вся литовская шляхта?.. Природный полякам католицизм начал игнорироваться, подвергаться насмешкам и даже значительным, как в случае с братьями Радзивиллами, притеснениям. К слову, по примеру «чешских братьев» Радзивиллы и их сторонники стали именоваться «польскими братьями». Подобными им были и «литовские братья». По сути своей, эти протестантские толки были антиринитариями, т.е. отрицающими догмат Троицы и божественность Христа, другими словами — попросту арианами. Только через сто лет, в 1658 году по решению сейма Речи Посполитой все ариане были изгнаны из Польши долой.

К этому времени, в 1587 году, на польский престол взошел король Сигизмунд III Ваза, ревностный католик и воспитанник иезуитов. Правда, он расценивал престол Речи Посполитой как временный и главной задачей своей считал объединение Речи Посполитой и Швеции, что и удалось ему на несколько лет. Но объединение это оказалось непрочным, более того, известие о его тайных переговорах в 1589 году с Эрнестом, герцогом австрийским, и готовность на известных условиях отречься в его пользу от короны, восстановило против него местную шляхту, которую оскорбило то, что к ним и к их горячо любимой отчизне молодой король относится, как к разменной монете. Сигизмунд не расположил в свою пользу и могущественного канцлера и коронного гетмана Яна Замойского, стараниями которого он и получил королевский престол. Первым поводом к раздору между ними послужила Эстляндия, которую Сигизмунд обещал в договорных пунктах присоединить к Речи Посполитой, но не исполнил обещанного. Место Яна Замойского, который, по всей видимости, рассчитывал управлять королем, заняли иезуиты. После того как шведские амбиции Сигизмунда потерпели крах и временный престол стал постоянным до самой кончины его в 1632 году, определилась другая задача, ставшая для него основной: укрепление попираемого в Речи Посполитой католичества, или крестовый поход против всех, исповедующих Господа не так, как предписано догматами Тридентского собора. Излишне здесь говорить о том, что за всеми этими вероисповедными исправлениями и начинаниями стоял Орден иезуитов, или же Societas Jesu, за которым в отдалении маячили римские папы, весьма обеспокоенные процессами, происходящими в Европе и, в частности, в Речи Посполитой, которая с той далекой поры и донныне является надежным бастионом католицизма.

В результате неустанной работы иезуитов и решительных действий короля Сигизмунда все благие обещания и упования государственных привилеев о свободе вероисповедания 1563-73 годов были нарушены, а затем и вовсе уничтожены. Протестантствующие магнатов и значительных государственных деятелей вроде Радзивиллов тихо и осторожно отстранили от власти. «Один народ — одна вера» — этим лозунгом и обуславливались все последующие события. Короля иезуиты вполне убедили, что для того, чтобы нация стала единой, чтобы естественным образом были преодолены национальные различия между поляками, литвинами и русскими, следует начинать с унификации вероисповедания, — здесь я не без оснований вполне усмотрел прообраз тех идеологических схем, посредством которых «советский народ» в пору моей молодости стал именно «советским народом» при Брежневле, только в те далекие времена

общим знаменателем, под который подверстывалась живая жизнь, был католицизм и верховенство Рима, а не тотальный атеизм и марксистские догмы. Но оба эксперимента не удались, как тогда, так и теперь.

Об осуществлении внутренней политики здесь все понятно: король использовал, как теперь говорится, «административный ресурс», но не совсем все же ясно, как свободолюбивый и гордый народ, с которым никак не могли совладать как прежние, так и будущие правители Речи Посполитой, преклонил послушно главу перед Обществом Иисуса, перед иезуитами. Конечно, для этого имелись веские причины. Николай Костомаров, знаменитый историк, так определяет психологические предпосылки, приведших Общество Иисуса к нравственному и политическому господству в Речи Посполитой:

«Иезуиты пришлось как нельзя больше по мерке польскому характеру. Этот орден, как известно, тем и отличался, что чрезвычайно искусно приносивался к особенностям страны и пользовался слабыми сторонами того гражданского общества, в которое вступал. Польская сердечность и добродушие встречали в них самые привлекательные качества. Никто столько не показывал дел милосердия и любви, как иезуиты; ни от кого бедный и страждущий не видел такого радушного участия и материальной помощи, как от иезуитов. Во время моровых поветрий иезуиты с опасностью для жизни ухаживали за больными. Никто так не отличался благочестием, скромностью и бескорыстием, никто так скоро не выучивал отганных в учение детей и не выпускал их с видимыми признаками мудрости; никто с таким даром красноречия не умел вкрадываться в душу, убеждать и возвращать в лоно церкви заблудших овец; ни у кого так великолепно и нарядно не отправлялось богослужение. Все, чем можно было привлечь добродушное и пылкое чувство, подействовать на восприимчивое воображение и опутать нетвердое размышление — пустили в ход иезуиты. Никто не мог превзойти их в искусстве благочестивого шарлатанства. С появлением их в Польше эта страна вдруг сделалась краем чудес, знамений, явлений и откровений: стоит только заглянуть в их годовники (Аппиае), чтобы видеть, какие это были чудотворы, в какие фамильярности входили они с ангелами и святыми, какие дивные исцеления производили своими молитвами: слепые прозревали, глухие слышали, безногие ходили, люди падали с крыш, разбивали головы вдребезги, и головы склеивались от иезуитских молитв; и все это записывалось и печаталось с точностью, указывалось место, где случилось чудо, имена и признаки лиц, с которыми были чудеса, а также и тех, кто их производил. Как было им не овладеть Польшей? Они и овладели ей. На счастье, судьба послала им такого польского короля, как Сигизмунд III: он царствовал долго и всегда находился в их руках. Победа им обошлась не без борьбы; против них ополчались и православные, и диссиденты (протестанты всяких толков), и самые католики, недовольные тем, что иезуиты овладели правительством и всеми делами; даже своя братия — монахи других орденов из зависти враждовали против них; они все вынесли геройски и остались победителями. Их победить могла только здравая наука и светлый холодный ум, не увлекаемый воображением и сердцем; а этого полякам недоставало паче всех соседних народов. <...> В школе (ребенку) внушали, что один только католик может угодить Богу, а прочие иноверцы все — исчадия дьявола; и под влиянием таких внушений он показывал, с одной стороны, презрение к человеческому достоинству русских хлопов, а с другой — отвращение ко всей сфере свободных знаний, развивавшихся в Европе не под влиянием папизма. Он не смел позволить себе читать грубых книг, кроме тех, которые ему разрешали монахи, его руководители в Царствие небесное...»

Со взрослыми, закореневшими в собственных заблуждениях, иезуиты практически не возились: взрослым суждено было скончать свои дни от старости или от ран, полученных в битвах, или просто отдать Богу душу, опившись вина на очередном сеймике, которых было бесчисленно и которые что-то, крепко забытое и неважное, неустанно «решали» и «постановляли». Как тут снова не вспомнить Костомарова и не процитировать, в какой обстановке и как проходили эти самые местные сеймики. Да и национальный характер тогдашних моих соплеменников здесь весьма ярко и выпукло представлен:

«Победители, удержав за собой поле битвы, голосовали, и все, что угодно было нанявшему их пану, постановлялось; выбирались такие послы на сейм и депутаты в трибунал, каких он назначал; писались инструкции, какие он сочинял; утверждались распоряжения, какие он придумывал. Иногда такие граки и кровопролития происходили в самом костеле; доставалось даже ксендзу, если он вздумает разнимать граку. Случалось, станет перед ними священник с распятием или с ковчегом: пьяная толпа выьет у него из рук распятие или ковчег и пальцы ему обрубит, а потом костел запечатан до нового освящения. По окончании сеймика победителей опять кормили, поили и расплачивались с ними по договору, а затем развозили по домам, иногда же

этого не делали, а заплатив, что нужно, предоставляли возвращаться домой, как кому угодно; тем же, которые вышли из битвы с ранами, накидывали какой-нибудь лишний червонец на вылечку. Всегда почти, кроме убитых и раненых, было несколько таких, которые объедались и опивались до смерти. Повсюду можно было встретить героев с выколотыми глазами, хромых, безруких, а иные носили на себе такие резкие следы участия на сеймике, что изуродованные лица их пугали слабонервных женщин...»

Но это были, так сказать, нормальные шляхтичи, верные сыновья папского Рима. С «диссидентами» все обстояло иначе.

Таким образом, главное внимание отцы-иезуиты уделяли детям, воспитывая из них верных солдат Рима, светлое будущее католичества. Исполнялись буквально слова Христа о том, что «никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Старики и средовеки попросту списывались со счетов, становились неактуальным прошлым, невзирая на былые заслуги и воинские подвиги по расширению польско-литовских владений во все стороны света. Эту тактику переняли от иезуитов и последующие тоталитарные режимы, делавшие ставку исключительно на молодежь: пионеры и комсомольцы 1920-х годов в СССР, «революционные учащиеся» — хунвейбины времен «культурной революции» в коммунистическом Китае, «студенты» времен Исламской революции при аятолле Хомейни, те же «студенты и учащиеся медресе» «Талибана» в Афганистане после падения просоветского режима Наджибуллы, которые и спустя 30-40 лет все еще, по всей видимости, числятся «студентами и учащимися медресе» и делают то, чему научены своими духовными лидерами... Но использование целого государства в целях достижения того, что было угодно римским первосвященникам, принадлежит, думаю, все-таки Обществу Иисуса.

Тактика и стратегия здесь были довольно простыми: иезуитские школы, коллегииумы и университеты давали блестящее, завидное образование, и любой здравомыслящий отец желал своим сыновьям блага и просвещения. Главным условием для зачисления в учебное заведение была принадлежность к католичеству — всего-навсего вроде бы неважная и несущественная мелочь. Но таково современное рассуждение, ошибочное и неверное. В противном случае ни о каких религиозных войнах 16-17-го столетий не могло бы и речи идти. Таким образом для того, чтобы литовский или русский отрок попал в огранку приличной школы, следовало отречься от лютеранства, кальвинизма или же от православия — и все сразу становилось доступным: тут уж иезуиты мягко стелили. Эта практика применялась Обществом Иисуса на протяжении веков.

Так, к примеру, уже в Новое время знаменитый сподвижник Петра I, влиятельнейший «князь» Российской православной церкви архиепископ Феофан Прокопович, выходец из Юго-Западной Руси, в юности для получения схоластического образования последовательно менял вероисповедание, как перчатки: отрекся от православия и стал униатом, они же постригли его в монашество под именем Елисея; обошел пешком половину Европы, посещал университеты в Лейпциге, Халле, Йене. В 1701 году в Риме поступил в прославленную тогда иезуитскую коллегию св. Афанасия, учрежденную для греков и славян, где продолжил совершенствоваться в науках. За необычайные успехи и дарования его отметил сам папа Климент XI, а иезуиты настойчиво предлагали вступить в их Орден, но Елисей предпочел вернуться на Русь, отказавшись от римской духовной карьеры. Тут он снова стал вроде бы православным: постригся по-новой в монахи, получил имя Самуил, а в 1705 году опять переименовал имя, в память о дяде, который его воспитал и взрастил, и назвался уже Феофаном. Его коллеги по Киево-Могилянской академии, где он подвизался по возвращении из Европы, отмечали сильный протестантский дух в его лекциях и в его мировоззрении, что и понятно вполне. Это вовсе не помешало восхождению Елисея-Самуила-Феофана и его блистательной карьере при Петре I, а затем и при Анне Иоанновне. Русские епископы, как прежде еще киевляне, неустанно обличали его в протестантстве, но всемогущему реформатору Российской церкви и автору «Духовного регламента», по которому вся Российская церковь жила до Октябрьского переворота 1917 года, было все нипочем: он открыто и невозбранно вел обширную переписку как с деятелями Реформации Европы, так и с отечественными расколоучителями в сибирских тайных скитах, — в частности, переписывался со знаменитым Выговским настоятелем Андреем Денисовым, приглашал его к себе в Санкт-Петербург на собеседование и был сильным его покровителем. По словам самих старообрядцев, Феофан был для них «возлюбленным о Христе братом», что весьма странно, если не сказать дико, зная о несокрушимом буквализме последних в отторжении каких бы то ни было изменений в священных текстах и в богослужении, не говоря уж о свистопляске со сменой вероисповедания и прочими «прелестями» яркого петровского сподвижника и реформатора... Так уж неизбежно получалось, что противники Феофана, обличавшие его неправославие, оказывались в результате в за-

стенках Тайной канцелярии... Историки отмечают, что Феофан Прокопович был человеком жестокого и погубил немало невинных людей. Так, он доносил императрице на епископа Льва (Юрлова), участвовал в обвинении архиепископа Гедеоны (Дашкова) и так далее, — но здесь не место и не время для оглашения полного списка, да это совсем и не нужно. Под конец своей жизни он практически и не скрывал своего кальвинизма. При этом есть подозрения, что он все-таки стал на какое-то время членом Общества Иисуса, но при этом по возвращении на родину весьма сильно обличал католичество, якобы разочаровавшись в нем во время пребывания в Риме. Чего здесь все-таки было больше: особенностей личности Феофана и отсутствия у него каких бы то ни было моральных принципов или — если исповедовать «теорию заговоров» — Феофан, оставшись тайным членом Ордена и крича громче всех «Держите вора!», как вор на базаре, благодаря своим великим разнообразным талантам был глубоко интегрирован в имперскую политическую элиту с известными целями, вполне им, надо сказать, успешно осуществленными. Ведь не случайно, когда папа Климент XIV в 1773 издал послание (бреве) «Dominus ac Redemptor Noster» о прекращении деятельности Общества Иисуса во всем мире и о конфискации всей собственности, принадлежавшей им, в пользу светских властей, то в одной только России иезуитов даже пальцем не тронули. После роспуска Общества в Европе и первого раздела Речи Посполитой двести один иезуит в четырех коллегиях и двух резиденциях польских и литовских областей оказался на территории Российской империи под покровительством Екатерины II. Последняя, по доставке в Польше в сентябре 1773 года папского послания, повелела считать его... просто несуществующим. Не было ли это зрелым плодом деятельности почившего первенствующего иерарха, архиепископа Феофана? Вопрос остается открытым.

Но я по некоторой своей природной горячности все же немного увлекся разговором о Феофане Прокоповиче, да и немудрено равнодушно пройти мимо такой самоубийной и роковой для церкви фигуры, наделенной многими талантами и дарованиями. Еще на четвертом курсе университета один из любимых преподавателей, читавших нам курс по древнерусской литературе, по каким-то непонятным причинам выделил меня из массы студентов и почему-то предложил заняться на досуге жизнью и деятельностью Феофана и что-то такое там о нем написать. Профессора восхищал энциклопедизм Прокоповича, выпадение его из типологии петровских преобразователей государственного устройства и уж тем более из череды церковных архиереев. К чему и зачем было сказано мне это, остается загадочным для меня до сих пор. Я, само собой разумеется, не последовал совету, но внимание свое на Прокоповиче все-таки заострил, время от времени возвращаясь и к его личности, и к его разнообразным литературным трудам. И — ведь так получается — совсем не напрасно.

Но вернусь все-таки к Речи Посполитой и событиям там. Соседние государства тоже не давали расслабиться королю Сигизмунду, ведь и они являлись «врагами веры христовой» — православное Московское царство и протестантская Швеция, где только что Сигизмунд потерял трон, в совокупности с собственными протестантами в Литве и православным народом Юго-Западной Руси (по исторической терминологии 19-го столетия), — все это представляло для него и Общества Иисуса (Societas Jesu) обширное поле деятельности — непримиримая война с ними составила основу как внешней, так и внутренней политики Сигизмунда.

Но все же я рассказываю обо всем этом только для того, чтобы хотя бы пунктирно обозначить фон, на котором происходили последующие роковые события — неотвратимые и несчастливые, какими видятся они в исторической перспективе, приведшие самое крупное, богатое и обширное государство, былую «державу без вогниц», с восточной границей под Тулой и западной под герцогством Бранденбург, владевшее даже территориями бывшего некогда могучего Ливонского ордена — герцогством Пруссия, к политическому краху, невосполнимой утрате огромного фрагмента православных земель, с последующими судорожным попытками во что бы то ни стало эти земли вернуть, а затем и полным исчезновением с политической карты тогдашней Европы на 123 года — считай, навсегда. Великая, славная и блистательная Речь Посполитая, неукротимый «Белый орел», грозный противник других тогдашних воинственных «орлов» — золотого двуглавого византийско-московского и черного угловатого орла с заостренными тевтонскими крыльями, тоже о двух головах, империи Габсбургов, владевших и Священной Римской империей, спустя два века после победного шествия Сигизмунда III в компании Общества Иисуса и кровавой бани, устроенной народам, ее населявшим, погрузилась в бездну исторического небытия, будто бы и не было ничего.

Военное, моральное, административное давление, подкуп православных иерархов, дискриминация православной шляхты, невозможность осуществить государственную карьеру, даже самую незначительную, если ты не католик, самовластие, небывалые до того насилия над посполитыми, оскорбления, унижения и убийства православного духовенства в Южной Руси, разгром и уничтожение лютеранского и чешского

соборов в Познани, разрушение иноверческого кладбища в Кракове, и вместе с тем — естественное противодействие противников: изгнание иезуитов из Торуня и Гданьска, бесчисленные восстания козаков, которые и стали, по моему убеждению, началом конца могущественного государства и о которых мне еще предстоит сказать несколько слов.

Сюда же можно отнести, как один из бесчисленных эпизодов, как характерный пример, чтобы не растекаться мыслью по древу, событие в Люблине: детки, которыми тщательно занимались отцы-иезуиты, подросли и заматерели в своеобразном деле католической миссии, и в 1633 году мятеж против местной кальвинистской общины спровоцировали именно студенты местного иезуитского коллегиума. Дошло до стрельбы из огнестрельного оружия и уличных боев, погибло много народа с обеих сторон, но расследование оказалось, разумеется, не в пользу протестантов. Их признали виновниками. В результате в Люблине восторжествовала Контрреформация, и последний большой центр кальвинизма среди коронных городов Речи Посполитой был ликвидирован.

Глава 8. УНИЧТОЖЕНИЕ «ДЕРЖАВЫ БЕЗ ВОГНИЦ» И БРЕСТСКАЯ УНИЯ 1596 ГОДА

Но если у лютеран и кальвинистов, кроме личного оружия, ружей и сабель с пистолетами, ничего не имелось, да и были они заурядными купцами-ремесленниками, разрозненными и не организованными в боевые дружины, ввиду распропагандированных погромщиков из иезуитских училищ-коллегиумов, то русские, как назывались в те времена предки нынешних украинцев, или «черкасы», по имени военного городка на берегах Днепра, были не таковы. В силу естественного проживания на границе Дикого поля, «черкасы», они же и козаки, несли определенные пограничные обязанности в целях предотвращения ежегодных вторжений за «ясырем», т.е. за славянскими рабами, со стороны Крымского ханства, а также составляли значительную часть кварцянго коронного войска в многочисленных военных конфликтах и войнах тех лет. Но власти в Варшаве и Кракове рассудили по-своему, исходя из весьма незначительного количества реестровых козаков, т.е. находящихся на официальной службе и получающих денежное довольствие — в те времена их насчитывалось не более полутысячи человек, — и это стало роковой ошибкой. Спустя полвека после первых козацких восстаний в «реестр» записались практически все православные русины, жившие по днепровским берегам, говоря другими словами — покочачилась вся польская Украина, вся Южная Русь. И если первое козацкое восстание под предводительством Криштофа Косинского было все-таки спорадическим и направленным против православных магнатов Острожских, и цели его, кроме самых простых — пограбить княжеские маетности и за что-то мелкое отомстить, — были понятны, то восстание Павла, или Северина, Наливайка, во время которого начались интенсивные переговоры православных епископов Поцея и Терлецкого с Римом о переходе южнорусских земель под омофор римского первосвященника, уже имели религиозную окраску. По крайней мере наливайковцы изрядно пошарпали имения самого Кирилла Терлецкого, разграбили епископскую ризницу и перехватили письма того к римскому первосвященнику, изъявляющие о готовности перевести всю Русскую церковь под его управление и окормление. Конечно, религиозная составляющая восстания Наливайка в советской историографии намеренно замалчивалась и практически не учитывалась. Разве что сквозь зубы говорилось о некоем «национальном и религиозном гнете», обусловивших очередное освободительное восстание трудящихся масс. А вместе с тем православное исповедание тогдашних русинов получило даже такое весьма красноречивое наименование, как «Наливайкова вера». А это уже о многом свидетельствует.

Плененного под Лубнами Наливайка казнили в Варшаве сразу же после Пасхи 1597 года. Источники умалчивают, стало ли известно ему о том, что почти все православные иерархи накануне, осенью 1596 года, все-таки принесли присягу римскому папе на Брестском соборе, а большинство народа и духовенства, отказавшихся последовать за ними, были объявлены отступниками как от церкви (уже униатской, по сути), так и нарушителями законов Речи Посполитой. А что ожидало таковых законопреступников? Да ничего хорошего, кроме преследований, мучительств, губительства, насилия и нескончаемого погрома.

Но все же нельзя утверждать, что все это произошло по случайному стечению обстоятельств, на ровном месте, и вот злостастные епископы Терлецкий с Поцеем на блюдечке поднесли папе римскому Русскую церковь ради каких-то туманных сиюминутных выгод. Конечно, процесс этот был довольно продолжительным и непростым, и начался он даже не с первых русских соборов начала 1590-х годов, где сам владетель-

ный этнарх и глава православных князь Василий-Константин Острожский обсуждал эти возможности о соединении с Римом — известна и его благожелательная переписка с Ипатием Поцеем об этих делах, а гораздо раньше — с автокефалии Москвы, с поставления там первого патриарха, с перехода Киевского митрополичьего престола в подчинение Константинопольскому патриарху, который сам, в силу сложившихся роковых обстоятельств, был подданным Османской империи, а следовательно, весьма несвободным, связанным по рукам и ногам в своем духовном и административном управлении новообретенной обширной епархией на юго-восточных рубежах Речи Посполитой. Ситуация усугублялась еще и тем, что константинопольские патриархи посещали польские православные земли проездом из Москвы, куда чуть ли не ежегодно ездили с протянутой рукой за подавием от московских царей. К тому же местным иерархам казалось, что константинопольские владыки вмешиваются в их дела и в проблемные отношения с паствой. Так, к примеру, патриарх Иеремия привечал православные братства мирян в пику русским архиереям, у которых были с братчиками сложные отношения. Во Львове, в Вильне и в Киеве братства к 1590-м годам стали очень влиятельными и богатыми и, будучи донаторами храмов и монастырей, зачастую с решающим словом по ряду текущих вопросов в известной степени находились в оппозиции к правящим архиереям. Однако, как мне кажется, в самих этих братствах весьма просматривается протестантский мотив — они требовали выборности духовенства, ограничения власти епископов, их твердого православия, контроля над церковными доходами и расходами, словом, они вторгались в самые сокровенные суть и смысл существования западнорусского епископата. Конечно, подобный контроль, как и активность братчиков, весьма напрягали епископов — ведь теплые и хлебные места на кафедрах русских епархий попросту покупались за деньги светскими панами, для того чтобы — скажем прямо о том — сладко есть и мягко спать. Тому имеется бесконечное количество примеров. Иногда в государственном аппарате происходил некоторый сбой, и на одно и то же освободившееся по смерти предшественника место назначалось сразу два претендента, и за право занятия кафедры начиналась настоящая война с привлечением крупных вооруженных отрядов, с пушечными обстрелами кафедральных соборов, приступами и осадами, со многими жертвами, грабежами и всеми мыслимыми безобразиями...

Таковой была история настоящей домовой войны между епископами Ионой Борзобогатым-Красенским и Феодосием Лазовским в 1565 году за обладание Владимирско-Брестской епархией, детально зафиксированная в судебных актах тех лет. Нареченный епископ Борзобогатый успел первым занять епископский замок во Владимире, но, предвидя нешуточные неприятности от Феодосия, известного своей решительностью, поручил оборону его своему сыну. Феодосий ничтоже сумняшеся собрал целое конное и пешее войско с пушками и гаковницами и двинулся отвоевывать епархиальный престол. Разместив пушки на городских зданиях, Феодосий открыл стрельбу по епископскому замку и соборной церкви; шесть раз его войско шло на приступы, но, ввиду безуспешности их, было принято верное решение подложить огонь под стены замка, чтобы выкурить оттуда Борзобогатых. При всех этих событиях немалое количество народа приняло смерть, многие здания и соборная церковь были повреждены ядрами. Сын Ионы Борзобогатого после целого дня осады с пожаром и пушечным боем все-таки вынужден был бежать, оставив имущество. Феодосий праздновал заслуженную победу. Тогдашний король Сигизмунд-Август, конечно, призвал Феодосия к ответу за эти дела, но тот, мало того, что отказался прибыть на суд короля, так еще бросился с посохом на слуг Борзобогатого и велел своим людям бить их и «топтать ногами» прямо в соборной церкви, наконец выгнал их из замка, сказав: «Если бы здесь был сам Борзобогатый, то я велел бы изрубить его на куски и бросить псам».

И король, заложник шляхетского своеволия и непокорности, ничего не смог сделать...

Но все это было только началом. Вступив в управление епархией, Феодосий Лазовский служил позором для православного духовенства и соблазном для паствы: с толпой вооруженных гайдуков он лично делал наезды на имения соседних владельцев, производил разбои и грабежи на дорогах и все в таком духе. Его зять, войт Владимирский, расточал церковную казну, разорял церковные имения, расхищал жалованные грамоты и выскабливал фундушевые записи из наместольного Евангелия в кафедральном соборе... Иона же Борзобогатый все-таки не остался внакладе: взамен бесславно утраченной епархии он получил соседнюю епархию, Луцкую и Острожскую, и, вступив в управление ею, практически ничем не отличался как от своих предшественников, так и от соперника и соседа Феодосия Лазовского: церковное имение Жабче отдал в приданое за дочь, сыновья его присвоили себе «армату» Луцкого замка — пушки и другое оружие, они же разграбили и опустошили не одну церковь, разграбили Дубищенский монастырь, разогнали несчастных монахов, кельи разломали и употре-

били на золу, из железного монастырского клепала велели наковать топоров... Замок Хорлуп, пожалованный Луцкой епархией еще великим князем Литовским Свидригайлом в 15 веке, был тоже ограблен. Затем опустошенный замок Борзобогатый променял князьям Радзивиллам на местечко Фалимичи, получив в доплату от них полторы тысячи золотых... В печальную летопись владычества Борзобогатых вошла и повесть о домовою войне за богатый Жидичинский монастырь. Король Стефан Баторий, которому до колик надоел этот мятежный епископ, приказал князю Василию-Константину Острожскому освободить монастырь и передать его другому епископу, Феофану Греку, что князь и сделал не без некоторых затруднений. Но вскоре неугомонная семейка Ионы с вооруженным отрядом снова завладела лакомым монастырем...

Тогда уже король Стефан Баторий приказал князю Александру Пронскому изгнать преосвященного мятежника из монастыря. Был отряжен сильный отряд жолнеров, но на подступах к Жидичинскому монастырю люди епископа открыли по войску ураганный ружейный огонь. Пришлось князю Пронскому усилить отряд как жолнерами, так и пушками — только так и удалось приступом взять монастырь. Иона был изгнан. По приказанию Пронского кости невестки и сына Ионы выкопали и выбросили за монастырские стены. Чтобы предотвратить дальнейшие покушения от неугомонного архиерея, князь окопал монастырь крепостным рвом и оставил в нем для обороны отряд вооруженных жолнеров. Король Стефан Баторий объявил Иону Красненского-Борзобогатого, его сына и внука *баннитами*, т.е. лишенными всех прав Речи Посполитой, за «окровавление Жидичинского монастыря, за насильственное изгнание епископа Феофана Грека и за раны, нанесенные его слугам». Наконец, в 1585 году, этот буйный шляхтич, дерзнувший надеть на себя ризы православного святителя, умер баннитом, человеком, осужденным на изгнание из отчизны и лишенным защиты законов.

Как раз после Ионы Борзобогатого Луцкую кафедру унаследовал епископ Кирилл Терлецкий, один из главных инициаторов и проводников унитарного проекта с папским престолом. Он уже не ограничился местечковым епархиальным пакопничеством в духе своего почившего предшественника, а «ступил на подмостки истории» по-настоящему, на последующие века.

Могли ли такие владыки и пастыри последовательно и ответственно стоять на страже интересов Православной церкви и своей паствы, теснимой произволом Общества Иисуса, королем Сигизмундом и сильными можновладцами Речи Посполитой? Я вполне допускаю, что таких безобразников и бандитов польские короли намеренно ставили на южнорусские церковные кафедры, чтобы еще больше усугубить кризис и руинированное состояние, в которых находилось тогдашняя церковь, учрежденная великими киевскими князьями, укрепленная тысячами святых подвижников благочестия домонгольской эпохи. Но о всем этом было крепко забыто к исходу 16-го столетия...

Все-таки в мою задачу вовсе не входит рассказывать о подробностях уголовных и нравственных преступлений епископов вроде Феодосия и Ионы и живописать прискорбные обстоятельства духовной атмосферы русских епархий 16 столетия и всего того, что предшествовало Брестскому собору 1596 года, в решениях которого, как я все-таки с некоторой долей доброжелательства предполагаю, часть русского епископата усматривала иллюзорную надежду на водворение порядка в польской Украине. И рассуждение здесь было довольно простое: у константинопольских патриархов, которые сами рабы турецкого султана, получается только стричь нас, как овец, с поборами и сбором милостыни, да причинять вред нам с покровительством братствам, которые лезут в то, что им не по чину и не по разуму, а вот придет сюда римский первосвященник и при поддержке короля и Общества Иисуса наведет здесь порядок, ну а мы к тому же получим сенаторские звания и будем заседать в сеймах с присущим почетом...

Подогревались такие надежды и самим Сигизмундом. 14 июня 1596 года был опубликован королевский универсал:

«Имея в виду древнее соединение церковей восточной и западной, всегда способствовавшее возвышению и процветанию государства, и подражая примеру великих государей... среди других наших государственных забот мы обратили наше внимание на то, чтобы людей греческой религии в нашем государстве привести к прежнему единству с католической церковью римской, под властью одного верховного пастыря. С этой целью... отправлены были в Рим послы к папе владыки Владимирский и Луцкий. Побывав у св. отца, они уже вернулись назад и не принесли оттуда с собой ничего нового и противного вашему спасению, ничего отличного от ваших обычных церковных церемоний. Напротив, согласно с древним учением святых отцов греческих и святых соборов, сохранили вам все в целостности, о чем и имеют дать вам подробный отчет. И так как немало знатных людей греческой веры, желающих святой уни, просили нас, чтобы мы для окончания этого дела велели собрать собор, то мы и позволили вашему митрополиту Михаилу Рогозе созвать собор в Бресте,

когда он с другими вашими старшими духовными признает то наиболее удобным. Мы уверены, что вы сами, когда хорошо подумаете, не найдете для себя ничего полезнее, важнее и утешительнее, как святое соединение с католической церковью, которая водворяет и умножает между народами согласие и взаимную любовь, охраняет целостность государственного союза и прочие блага земные и небесные».

Ну, слова о взаимном согласии и любви и о построении «нового общества» набили оскомину мне еще в Кобеляках, когда мои родители изо всех сил строили коммунизм в одной упряжке со всем советским народом, и которые, как и всегда, оказались словесной иезуитской уловкой, что в 17 веке, так и тогда, в 1970-80 годы уже прошлого века. «Когда будет говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба... и не избегнут» (1 Фес 5:3). Да это же классика просто какая-то, предсказанная просто буквально апостолом Павлом!.. Как навязли нам в свое время эти мантры Брежнева с трибун и партийных площадок былого о «мире и безопасности», за которыми не просто ничего не было, но напротив — «почтовые ящики» изо всех сил клепали ракеты, укрепляли оборону и усовершенствовали тогдашнее вооружение, Союз влез в Афганистан и застрял там на долгие годы. Даже Русскую православную церковь директивно обязали изо всех сил «бороться за мир» и ощищывали ее, как курицу, посредством Фонда мира под сладкозвучные евангельские слова из Нагорной проповеди: «Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божиими нарекутся...» (Мф. 5, 9). Так и король Сигизмунд спел величественную песнь о том, что «католическая церковь водворяет и умножает между народами согласие и взаимную любовь», — очень скоро русские сняли обильную жатву этого обманчивого «согласия» и этой лицемерной «любви»...

Почему я остановился на событиях, имевших место до Брестского собора 1596 года и на самом этом соборе русских епископов, «соединившем» по видимости и по имени две ветви христианского исповедания, разошедшиеся вроде бы навсегда в разные стороны в 11 столетии? Ведь я, по сути своей, вполне себе такой теплохладный христианин, скорее даже агностик, — вовсе и не католик, каковым вроде бы обязан быть по своему польскому происхождению, — но все это крепко-накрепко позабыто за столетия жизни нашего рода Маршалков-Язловецких в так называемых Сходних кресах исчезнувшего древнего государства, затянута илом мертвенного беспамятства; и никакой я не православный — по месту вынужденного проживания в Кобеляках, — да и как мог я стать таковым, если ближайшая действующая церковь к нам находилась в Кременчуге, да и то не в самом городе, а в правобережном районе Крюковке, на выселках, возле вагоностроительного завода. Мало того, что до Кременчуга еще надо было от нас доехать автобусом, так там еще и через Днепр перейти по мосту или дожидаться автобуса на Александрию, чтобы не на своих двоих тащиться через громадный мост, построенный после войны взамен взорванного при отступлении красноармейцами в 1941... И это — ради чего? — чтобы непонятно зачем перекрестить лоб троеперстно и послушать-посмотреть богослужение, в котором человеку с улицы совсем ничего непонятно?..

Хотя, по зрелом размышлении теперь понимаешь, что православие заключается вовсе не в крепких стенах крюковской церкви, устоявшей в войну, и вообще не в условном граде Китеже, опустившимся на дно озера Светлояр, и не в чудесах, свидетельствующих о горнем мире, но в чем-то другом, сокровенном и тайном. «Храм не в бревнах, а в ребрах», — но это мне еще предстояло уразуметь...

Ну да, святыни какие-то, чуждые современному человеку... Ну да, мученики первых веков новой эры, которые предпочитали быть разорванными дикими зверями на римских аренах, но не бросить щепоть ладана в жертвенный огонь с поминанием имени императора... Все это было, — было, да прошло. Тьма веков и тьма человеческого неведения — так незатейливо я рассуждал, пребывая в кобелякской безмятежности и простоте, потягивая с дружкой Сероштаном жигулевское пиво и медитируя на очередной закат солнца в степи за Ворсклой. Все давнее прошло и нас совсем не касается. И в Крюков никакой я, разумеется, не поеду: времени у меня на то нет...

Но попав в златоглавый стольный град Киев, пройдя несколько раз любопытствующим экскурсантом по узким лаврским пещерам и подивившись нетленным телам монахов домонгольской поры, я поневоле задумался, что не все просто складывается в этом мире и далеко не все я понимаю, как должно. Ну вот, к примеру, как объяснить с точки зрения человеческой логики судьбу князя Николы Святоши, правнука Ярослава Мудрого и сына черниговского князя Давида, который по своей доброй воле сменил воинский плащ луцкого удельного князя на ветхое рубище киевского монаха и долгие годы был в самых черных и тяжких монастырских работах? Братья-князья уговаривали его вернуться в прежний мир княжеских распрей и войн, пиров, состязаний и честолюбивых свершений, но он твердо отказывался. То же упрашивал сделать его и врач-сириец, его близкий друг, последовавший за ним в Киев, на Печерские холмы над синей ширью Днепра. Никола ответил ему:

«Много думал я о спасении души моей и рассудил, что не надо щадить плоть, пусть она смирится трудом и постом. Правду ты говоришь, что никто из князей не делал этого прежде, но и пусть я буду и первым на этом пути: пусть другие за мной следуют. Я благодарю Бога моего, что Он освободил меня от работы мирской и сотворил слугою — рабом своим, блаженным черноризцем. Пусть братья мои князья внимают себе. Что же касается до того, что ты мне грозишь смертью за мои труды и воздержание, то я тебе скажу на это вот что: и ты, врач, не приказываешь ли иногда своим больным воздерживаться от того или другого, чтобы получить выздоровление? И мне подобным образом нужно врачевать мои душевные недуги. А если я и умру телесно, Христа ради, то это будет для меня приобретение».

— А вот мы с тобой, Лешек, — сказал как-то раз мне Сероштан, приехав на каникулы из Москвы, — смогли бы мы так? Отказаться от княжества, от того образа жизни, которым жили древнерусские князья? Закопаться в затворе на годы?..

Я только хмыкнул на это.

Действительно...

Без внутренней дрожи по пещерам тем не пройти и при электрическом свете, а как-то в те года и века? Человек входил в пещерный затвор, и дверной лаз закладывали кирпичами, оставляя только малое оконце, через которое раз в день, а может, и реже, передавали подвижнику корчагу студеной воды и кусок черного хлеба. Кромешная тьма, суровый пост, терзающий изнуренную плоть, оглушительная тишина — и все это на многие, долгие годы... Да такое просто невозможно представить, вообразить, каким бы богатым ни было воображение! И самое странное и непостижимое: на эти лишения человек обрекал себя сам, по своей доброй воле. Еще и заслужить такую честь надо было годами тяжких трудов-послушаний...

Так что было о чем мне задуматься в Киеве. И вроде как бы и не по моей воле размышления эти приходили ко мне, будто извне некто бросал в душу мои семена, которые прорастали, всходили, заполняли пространство души непривычным и неожиданным. А многочтение и блуждания мои по киевским улицам, паркам, бульварам, мое сугубое одиночество и неразделенные какие-то чаяния и смутные надежды на что-то, чему никак я не мог подобрать даже определения, усугубляли этот ток размышлений об исторических судьбах людей, государств, а затем — и нашей, Маршалков-Язловецких, Речи Посполитой, которой некогда принадлежал весь этот обширный и благодатный край. С потерей которого в середине 17-го столетия и начался медленный и неотвратимый закат Польской короны, а затем и ее исчезновение. Ну а мы... мы получили сиротство, которое наши предки, пропившие и проговорившие на сеймах Речь Посполитую, пытались затем преодолеть обреченными восстаниями, которые заканчивались поражениями, казнями и ссылками в Сибирь и на Дальний Восток, с последующим растворением веры, языка и обычаев в русском этносе.

Вот причина, по которой я рассказываю, стараясь все же обойти без важных, но в данном контексте ненужных подробностей, о Брестском соборе 1596 года. По моему мнению, вызревшему за десятилетия моей никакой и довольно непутевой жизни, именно он стал детонатором того геополитического и духовного краха, в котором в конце концов и погибла Речь Посполитая, «держава без вогнищ», некогда самое могущественное европейское государство.

И о том следует сказать прямо, со всей непреложностью.

Король Сигизмунд III, подстрекаемый иезуитами и искушаемый порочностью и моральным разложением русского епископата, совершил роковую ошибку, за которую пришлось расплачиваться полякам на протяжении четырехсот лет.

Ведь даже этот краткий рассказ о князе Николе Святоше, правнуче Ярослава Мудрого, дает понять, что такое есть вера, что такое ее глубина, ее крепость, ее непоколебимость. И что значит вломиться со своими безумными идеями о «мире и безопасности» и об «уврачевании церковного раскола», который произошел за несколько веков до твоего рождения и который никакие соборы, из них первый Ферраро-Флорентийский, уврачевать не могли, но еще более усугубили пропасть между Западом и Востоком. Не по Сеньке шапка эта оказалось нашему королю, что и понятно. После собора утесняемая государством, иезуитами и новоявленными «соединенными» «наливайкова вера» противу чаяния не только не погибла бесследно, как следовало того ожидать, но даже воспряла: несогласие православных на унию с Римом вызвало небывалый всплеск антикатолической литературы, бурные дебаты на сеймах, вооруженные конфликты во многих городах и поветах, настоящее мученичество, подобное первым векам христианства, разве только не травили исповедников запрещенного на законодательном уровне православия львами и тиграми да не топтали слонами...

До полномасштабных козацких войн оставалось совсем недолго...

Ну а пока, после Брестского собора 1596 года, на вполне уже «законных» основаниях Сигизмунд предписал местным органам власти подавлять выступления против-

ников унии. На Варшавском сейме русский этнарх князь Константин Острожский, выступая от имени православных дворян ряда воеводств Речи Посполитой, потребовал, чтобы у епископов, отступивших от православия, были отобраны кафедры и переданы православным, в соответствии с традиционными нормами права. Когда король отказался это сделать, православные дворяне — противники унии заявили, что не признают организаторов унии своими епископами и не позволят им осуществлять свою власть на территории их владений. Против унии продолжали выступать и братства, и многие представители духовенства. Однако свободе общественного и религиозного самоопределения приходил конец: привилегии прежних королей о неприкосновенности веры хотя и существовали на бумаге в архивах Варшавы и Кракова, но практически были отменены. Уния стала, так сказать, государственной программой, а борьба с ней рассматривалась как политический бунт. Первым было наказано Виленское братство — универсалом короля от 22 мая 1596 года митрополиту Михаилу Рагозе было приказано судить виленских братчиков как бунтовщиков и изгнать из Троицкого монастыря, которым владело братство. Многие историки отмечают, что в дальнейшем государственная власть последовательно исходила из того, что единственной законной церковью для православного населения Речи Посполитой являлась именно униатская, и для достижения этой цели не останавливались ни перед какими мерами давления и принуждения: храмы, в которых служили священники, не принявшие унии, закрывались, сами священники лишались приходов, а богослужения разрешалось проводить только священникам-униатам. Православные мещане не допускались в состав городских магистратов, а ремесленники исключались из состава цехов. Униатское духовенство активно побуждало власть к проведению такой политики, а католическая церковь поддерживала ее своим духовным авторитетом.

Глава 9. МОСКОВСКАЯ СМУТА И САГАЙДАЧНЫЙ

На какое-то время Смута в Москве сплотила гражданское и военное общество Речи Посполитой — ведь открывались новые и небывалые по смелости достижения горизонты. Под предлогом восстановления на московском престоле целой кучи Лжедмитриев Сигизмунд III занял чуть ли не половину Московского царства, поляки водворились даже в московском Кремле, и недавние противники, борцы за чистоту веры, польские дворяне с жолнерами и русские козаки, которые только что утратили в Бресте свою церковь и иерархию и оказались практически вне закона, объединились в единую военную стаю и терзали неслыханными грабежами Московию, которая, по всей видимости, находилась уже на последнем издыхании, и дни ее были уже, кажется, сочтены. Даже русский этнарх, громогласный защитник православия на сеймах в Варшаве после Бреста, князь Василий-Константин Острожский, невзирая на свои 80 с лишком лет, возглавил крупный личный отряд и отправился за легкой добычей в соседнее государство. Верно, готовился жить вечно. Ну что скажешь тут? Такие простые и жестокие нравы господствовали в ту эпоху...

Гетман и герой польской Украины, гроза Крыма и Турции Петр Конашевич Сагайдачный бочонками отправлял золотые червонцы из Москвы в Киев уже во второй фазе нашествия на Московскую Русь, когда после избрания на царство Михаила Романова военная машина Речи Посполитой снова двинулась на восток, разоряя московскую Украину, засечные города, остроги и села Слободской Украины.

Целью новой войны было водворение на царском престоле сына Сигизмунда Владислава, о чем еще прежде поляки договорились с московскими боярами-изменниками. Но бояре снова тут изменили, по усвоенной во время Смуты привычке, и избрали царем юного Михаила Романова. Восстанавливать попорченную справедливость и отправившись в Москву польские воинские соединения. Сигизмунд обратился за помощью к запорожцам. Но прежде чем влиться в коронное войско, Сагайдачный выдвинул королю ряд условий, среди которых, в частности, было снятие запретов и ограничений на православное вероисповедание на Украине. Сигизмунду некуда было деваться, и он вместе с сеймом частично согласился с этими требованиями. Летом 1618 года 20 тысяч запорожцев во главе с Сагайдачным двинулись через Ливны на Москву, захватив по пути Путивль, Рыльск, Курск, Валуйки, Елец, Лебединь, Данков, Скопин, Ряжск, разрезая пространство между Курском и Кромами...

И снова — Москва едва устояла...

Королевич Владислав вышел к Тушино, Сагайдачный же — к Донскому монастырю. 1 октября город атаковали с двух сторон. Во главе московских войск снова стоял, как и прежде, Димитрий Пожарский. В наступившем беспорядочном уличном сражении обе армии понесли тяжелые потери, однако нападавшие так и не смогли взять внутренние городские стены... У польского правительства не нашлось денег на продолжение войны — верно ведь мнение, что награбленное не приносит ничего и бы-

стро расточается — ведь всего десять лет назад Московское царство было разорено до основания, и вот — у короля нет денег совсем на то, чтобы довести до конца задуманное, — а ведь стоит он прямо под стенами Земляного города... По этой причине 24 декабря было заключено Деулинское перемирие. Сагайдачный был категорически против снятия осады и отхода польских вооруженных отрядов. По условиям Деулинских переговоров за Речью Посполитой закреплялись Смоленская и Черниговско-Северская земли — всего же 29 городов. Из польского плена по отдельному соглашению король освободил митрополита Филарета Романова, отца молодого царя. Козаки же Сагайдачного за поход получили от короля плату — 20 тысяч золотых и увеличение количества войскового реестра. Четыре полка «черкасов» ушли в Архангельский край, где к весне были разгромлены московскими воинскими соединениями. Часть запорожцев во главе с полковником Тарасом ушла в Европу к австрийскому императору Фердинанду для участия в боях Тридцатилетней войны на Рейне, в Пфальце и Венгрии. Некоторые отряды при посредничестве крымского хана Шагин-гирея отправились на службу к шаху Ирана Аббасу, воевавшему тогда с Турцией. А еще один из полков, находившийся под Калугой под командованием Ждана Коншина, попросту перешел на московскую службу. Вот и вся логика — и никаких идеологических заморочек. Острая козацкая сабля готова была служить любому государю без разбору, лишь бы деньги платили.

Королю Сигизмунду как раз не жаль было денег для оплаты военных услуг козакам. Скрипя зубами, дозволил он увеличить и реестровое войско и даже дать ему какую-то автономность, знаками которой были войсковые клейноды — гетманская булава, бунчук, печать и знамя. Только свободой вероисповедания король никак поступиться не мог — и здесь тоже просматривается плодотворная работа Общества Иисуса. Все осталось так, как сложилось после Брестского собора.

К этому времени последние двое епископов, не принявшие постановлений 1596 года, уже умерли, в живых остался единственный Иеремия, епископ Львовский; скончался в 1608 году князь Василий-Константин Острожский, еще раньше скончался сын его Александр, воевода волынский, в котором утесняемые православные видели заместителя его славного отца в деле защиты своей веры; умерли другие представители старого поколения русского магнатства и шляхты, стоявшие за «старожитную религию греческую», их же наследники принимали сразу латинский обряд, минуя локальную унию. В 1610 году Мелетий Смотрицкий в своем знаменитом сочинении «Фринос» приводит длинный ряд магнатских и шляхетских фамилий, которые отступили от православия и своей народности. В 1607 году почил сном праведника с чувством исполненного долга и Кирилл Терлецкий, один из главных устроителей унии с Римом. Старели и ветшали днями священники, рукоположенные еще православными архиереями, и вскоре русинам польской Украины грозила участь вовсе остаться без священства. Впрочем, таким и был расчет иезуитов: «все умрут, а я останусь», и те, кто прежде отвергал с возмущением униатскую церковь, поневоле приползут туда на коленях — ведь немыслимо было в те века жить человеку без Бога.

Так бы все это и произошло, если бы снова, по воле Провидения, не вмешались козаки: неутомимый Сагайдачный объявил о вступлении «со всем войском Запорожским» в Киевское Богоявленское братство. И хотя оно было создано, естественно, без разрешения короля, братство это власти не осмеливались запретить, опасаясь реальной опасности от новых братчиков, вооруженных до зубов саблями и рушницами, готовых отстаивать силой православное богослужение.

Историк Владимир Антонович в конце 19-го столетия с поразительной точностью формулирует сложившиеся тогда историко-психологические обстоятельства: Сагайдачный *«понял, что вера для народа дороже других нравственных побуждений, и потому решил приобщить неразлучно религиозный вопрос к казацкому делу и, таким образом, сделать из казаков передовых людей всего народа, отстаивающих его важнейший интерес»* («Архив Юго-Западной России», ч. III, т. I, с. LXXXV).

Несколько слов следует сказать и об этом «Архиве Юго-Западной России», колоссальном труде по истории польской Украины, над которым я корпел несколько лет в чтении и без которого практически немыслимо сегодняшнее историческое знание. Эти десятки тысяч страниц расшифрованных и переведенных в современную Антоновичу орфографию — бесценный клад для сегодняшнего ученого или для того, кто интересуется историей: тысячи судебных актов из «книг гродских» Киева, Луцка, Владимира Волынского, универсалы польских королей, судебные тяжбы с подробными описаниями преступлений, взаимных претензий и разборов всяческих вин, рельефные портреты невероятных людей, чьи кости давно истлели в безвестных могилах минувшей громокипящей эпохи церковных соборов, сеймовых состязаний и несчетаемых войн... Эхо прошедшего времени... Ничего более увлекательного я не читал в жизни. Владимир Бонифатьевич Антонович как раз и стоял у истоков разбора и публи-

кации этих актов: в 1863-1880 годах он был главным редактором «Временной комиссии для разбора древних актов» в Киеве, руководил изданием «Архива Юго-Западной России» и несколько томов предварил своими вступительными монографиями. Страшно подумать о том, что случилось бы с этими архивами во время Гражданской войны, а затем — в 1941 году, не будь они в свое время разобраны и опубликованы Антоновичем...

Решительные действия от новых богоявленских братчиков не заставили себя ждать: 23 февраля 1618 года ночью явились в Выдубицкий монастырь несколько десятков козаков «невесть откуда», окружили дом униата Антония Грековича, крепко притеснявшего киевлян, «поймали и как какого-нибудь негодяя схватили, связали и бросили в прорубь в Днепр и утопили», а вещи, домашнюю рухлядь, одежду, деньги и все состояние Грековича разграбили. В 1625 году такая же участь ожидала и киевского войта, на которого из-за подобных же притеснений православных пожаловался им митрополит Иов Борецкий — войта тоже утопили в Днепре.

Но несмотря на эти подвиги и дела, положение разоренной и полуразрушенной Православной церкви оставалось весьма угрожающим из-за естественной убыли архиереев и духовенства.

Историк начала 20-го столетия Василий Беднов рассказывает об одном из сеймов в Варшаве, где поднимались религиозные вопросы об успокоении православия в Речи Посполитой:

«Стоявший во главе волынских земских послов на сейме 1620 года чашиник волынский Лаврентий Древинский, один из ревностнейших борцов за православие, произнес воодушевленную речь в защиту православной веры. В ней он говорил, что для успешности внешней защиты государства необходимо прежде всего водворить внутренний мир путем прекращения тех гонений и несправедливостей, которым подвергаются православные; при этом он приводил немало примеров этих несправедливостей. В больших городах Короны церкви запечатаны, имения церковные расхищены, в монастырях вместо монахов скот запирают. Такие же бесчинства творятся и в Великом княжестве Литовском. В Могилеве и Орше церкви запечатаны, а священники разогнаны. В Пинске Лещинский монастырь обращен в питейный дом. Православные лишены богослужения, таинств и обрядов. В Вильне православные могут проносить своих покойников только через те ворота, которыми вывозятся нечистоты. В заключение своей речи Древинский просит короля жалиться наг тесными православными, сохранить их при их правах и вольностях, освободить их от претерпеваемых ими несправедливостей, а церковные имения возратить, если не вдруг, то постепенно, по смерти митрополита и владык-униатов, их законным обладателям; если греческая религия не будет успокоена, а раны Православной церкви не будут уврачеваны и на этом сейме, то православные вынуждены будут воскликнуть вместе с пророком: «Суди мя, Боже, и разсуди прю мою». <...> Когда один из послов заявил, что православные не согласятся на принятие налогов, необходимых для борьбы с турками, пока не будет оказана им справедливость, то король (будто бы) ответил ему: «Пусть скорее погибнет Речь Посполитая, пусть сгинем мы с тобой, лишь бы только святая вера не потерпела ущерба». («Relacye pyncyuszpn...»)

Эти невероятные, страшные слова Сигизмунда оказались, к несчастью исторической Польши, пророческими: через 175 лет, или всего через семь поколений, Речь Посполитая, огромное и могущественное государство, исчезла с карты Европы...

В феврале 1620 года атаман Петр Одинец по поручению Сагайдачного встретался с патриархом Иерусалимским Феофаном III в Москве, где изложил позицию гетмана по поводу восстановления православным церковной иерархии. В марте Феофан прибыл в Южную Русь. На границе его встречали запорожские козаки во главе с Сагайдачным, которые, согласно сообщению Густынской летописи, «обточаща его стражбою, яки пчелы матицу свою», сопровождали с почестями в Киев. Здесь Феофан общался с представителями местного братства и православным духовенством, посещал святыни и монастыри и долго примеривался, как бы сделать то, о чем умоляли его козаки, и вместе с тем не пострадать от неистового короля. И только спустя несколько месяцев, 15 августа 1620 года, ночью, под усиленной охраной, Иерусалимский патриарх Феофан в Печерской лавре восстановил Киевскую православную митрополию, а затем и православную иерархию. 6 октября 1620 года в Братской Богоявленской церкви патриарх посвятил восемь русских епископов, которые впоследствии стали известными борцами за православие, просвещение и русинскую культуру. Под непосредственным влиянием гетмана Сагайдачного из-под пера Иова Борецкого, новопоставленного киевского митрополита, вышел трактат «Протестация и благочестивая юстификация», появились полемическое сочинение «Полинодия» Захарии Копыстенского, «Книга о вере» и другие. Это были новаторские труды, на страницах которых, в отличие от первых полемических произведений, озвучивается идея единой прародины трех восточнославянских народов, неразрывности их исторических судеб, близости разговорных

языков, единства церковно-славянского языка и вероисповедания. Иов Борецкий заявил в своей «Протестации» следующее:

«С Москвой у нас одна вера и богослужение, одно происхождение, язык и обычай».

Незадолго до всего этого Сагайдачный, лишившийся гетманской булавы в конце 1619 года во время своего военного похода под Перекоп, обратился к царю Михаилу с просьбой о помощи по ее возвращении, и изъявил готовность оружием служить Московской Руси, «как прежде» (тут имелись в виду походы князя Вишневецкого (Байды) против татар в 1550-е годы в Крым). Послов Сагайдачного приняли 26 февраля в Посольском приказе. Их переговоры с боярами и дьяками продолжались весь март и апрель. Перед отъездом из Москвы послы получили письмо царя Михаила Федоровича гетману. В вежливых, но сдержанных словах царь благодарил Сагайдачного и запорожцев за желание «службу оказывать». Он пожаловал им «лежное жалованье» в 300 рублей и пообещал в будущем дать больше. Пока же, как объяснялось в письме, Москва находилась в мире с крымскими татарами и службы от козаков не требовалось. Именно тогда же, в Москве, глава посольства Петр Одинец и сговорился с Иерусалимским патриархом Феофаном о восстановлении иерархии в Киеве. Патриарх присутствовал там на торжествах по случаю интронизации на московский патриарший престол Филарета Романова.

Как тут не удивиться: ведь всего год назад Сагайдачный разорял московские города, крепостицы и пограничные засеки, необъяснимым чудом Московский кремль устоял под натиском его запорожцев с жолнерами Владислава... Кроме того, он был последовательным и решительным противником Деулинских переговоров и перемирья — и вот не просохли еще чернила на договорных грамотах, как гетман просит о помощи молодого московского государя, и тот... не отказывает ему вовсе, не поминает прежнее, а даже передает 300 рублей «лежного жалованья»... Чего больше здесь — понятного страха от буйного гетмана, память которого о «подвигах» на Москве еще была слишком свежа и от которого было легче откупиться, или все же цельности, законченности прежних характеров, закалявшихся в то суровое и невероятное время?..

Конечно, все эти события, переговоры и дела весьма обеспокоили правительство Речи Посполитой. Но никто не разглядел во всем этом грозных знаков скорого будущего. Исповедовалось одно только грубое действие, сила и принуждение, делались выводы только о том, что следует усилить давление на православных, усилить репрессии, загнать снова в подполье.

В феврале-марте 1621 года Сигизмунд III издал универсалы, в которых говорилось, что поставление митрополита и епископов патриархом Феофаном незаконны, поскольку иерусалимские патриархи не имеют отношения к Русской церкви, а такие иерархические действия требуют разрешения короля, сам же Феофан был назван самозванцем и турецким шпионом. Таким образом, несмотря на все благие обещания успокоить русское общество, которые король, ввиду военной угрозы и очередных походов, щедро расточал Сагайдачному и запорожцам, так и оставались только лишь обещаниями. Василий Беднов в своем монументальном труде «Православная церковь в Польше и Литве» в связи с этим отмечает:

«Казачество чрезвычайно энергично защищает православие и ведет неустанную борьбу с ненавистной для всего русского народа унией. В этом отношении заслуги казачества неоценимы; благодаря ему, католичество и уния сдвинулись еще более ненавистными, чем прежде, для русского народа, и последняя привилась крайне туго в тех областях, где было сильно влияние казачества, именно в южных воеводствах. Значение казаков как покровителей православия сознавалось всеми современниками рассматриваемых событий, но более всего населением Киевского воеводства».

Примечательно и свидетельство папского нунция Торреса, высказанное им в донесении его апостольской столице в 1622 году. В нем он сообщает римскому папе о том, что старания Сигизмунда III о соединении схизматиков с костелом остаются тщетными, потому что «православный люд, большей частью посполитый», не прельщается королевскими милостями и не соглашается изменять своей вере, защитниками которой являются козаки:

«По отношению к ним (т.е. схизматикам) нельзя применять насильственных мер, ибо, кроме подтвержденной королевской присягой свободы совести (wolności sumienia), препятствуют (sa na przeszkodzie) козаки, народ воинственный и смелый, стоящий на страже ее, схизмы (w jej oboronie) по временам с просьбами, по временам с угрозами на устах и всегда с оружием в руках (czasem z prozba czasem z grozba w ustach, a zawsze z orezem w reku)».

60 тысяч казаков, все сжигающих, грабящих и вырезающих на своем пути, по мнению нунция, внушают серьезные опасения королю и сдерживают его католическую ревность.

В этой атмосфере безнадежности митрополит Иов в 1625 году отправил в Москву

предложение — присоединить Южную Русь, польскую Украину, к Московскому государству. Однако слабое после Смуты правительство царя Михаила Федоровича Романова не решилось на этот шаг, явно грозивший новой войной с Польшей.

Признание и легализация православной иерархии произошли только после смерти Сигизмунда — король до конца своих дней остался твердым и неумолимым в деле насаждения и утверждения церковной унии.

Глава 10. ПОЛЕМИКА 17-ГО СТОЛЕТИЯ

В каком-то лихорадочном и болезненном дурмане я пребывал все это время, не замечая дней, месяцев, — ранней осенью я возвращался с вакаций или из довольно бесцельных блужданий по Украине в поисках неизвестно чего, и ноги сами собой несли меня, как в некую благословенную, вожденно-горькую преисподнюю, в тихие залы исторической библиотеки в Печерске, где я снова корпел над «Актами» Антоновича, томами Беднова и «Киевской стариной», разбирал словесную старорусскую, весьма полонизированную речь полемических трактатов 16-го и 17-го столетий, направленных против униатов, а затем уже и приверженцев латинского обряда, вгрызался в старинный слог и вычурную витиеватость тех и других, почивших давно, исчезнувших, растворенных в щелочи неумолимого времени, забытых накрепко потомками, для которых совсем неважными стали их размышления, терзания и угасшая сила их обличений. Я вчитывался в блеклые буквицы на ветхой серой бумаге, грубо выделанной из тряпья, захватанной пальцами, зачитанной некогда современниками чуть ли не до видимых дыр, и все старался понять доводы противных сторон, свести воедино расколотую картину прежнего мира: «Послание до латын из их же книг», «На богомерзкую, на поганую латину, которые папежи хто что в них вымыслили в их поганой вере, сказание о том», «Про единство церкви Божией», «Ключ царства небесного», «Апокрисис», «Предостережение», «Тренос», «Палинодия», «Зачапка мудраго латыника з глупым русином», «Диариуш»... Христофор Филалет, афонский подвижник, уроженец Галичины Иван Вишенский, Стефан Зизаний, Мелетий Смотрицкий, Захария Копыстенский, Михаил Андрелла и прочие стали моими душевными собеседниками, — о, если бы навсегда! — так думалось мне временами в Печерске, и мне самому было странно от этого. А теперь, вспоминая то время, понимаю, что подсознательно я просто не хотел прощаться со своей молодостью, со своими иллюзиями той поры, со своей непуганностью, скажем так, которой совсем недолгое время оставалось тешить мою душу миражами и внешним покоем. И тогда, читая ответ Филалета Петру Жалобе, вышедший острожским тиснением в 1598 году, я практически не заметил среди филиппик православного автора предостережения о том, что избранная королем Сигизмундом III политика национального и религиозного угнетения может вызвать состояние всего русского народа.

А это предчувствие, угроза или пророчество — тут каждый волен по-своему разуметь — мельком, как нечто весьма незначительное, в духе тогдашних коммунистических лозунгов-мантр, затягивающими кумачом все балконы на Крещатике к праздникам 1 мая и 7 ноября, прошло мимо тогдашнего меня, и только сейчас, вспоминая об этом, я ощущаю всю силу этих пророческих слов Филалета.

Но, как всегда, никто ничего не услышал, не понял, не замер перед роковой чертой, не придал значения. Да и читал ли сам Сигизмунд или значные сеймовые сенаторы и князья эту полемику, слабым отзвуком доносящуюся с южнорусских земель?..

Тогда же, в начале 1980-х годов, меня поражал образ иезуита Петра Скарги, который первенствовал и блистал со своей книгой «О jedno ci ko sio a Wo ego» («О единстве церкви Божьей»), изданной в Вильне в 1577 году, еще до злосчастного и несчастливое для православных русинов Бреста, и слыл прямо-таки польским «златоустом». Его «Жития святых» в течение многих веков были настольной книгой польских католиков, а «Сеймовые проповеди» остались в истории литературы и восхищали Мицкевича. Задолго до всех этих событий папский легат, иезуит Антонио Поссевин под предлогом посредничества при заключении мира между Московской Русью и Польшей, добрался до государя Ивана IV Грозного и склонял того под сурдинку и песню о мире с Речью Посполитой вернуться к решениям Ферраро-Флорентийского собора. О своем путешествии он написал книгу «Московия», изданную в 1586 году в Вильне. Вот как он сам описывает свою неудавшуюся «прю о вере» с царем:

«Государь снова убеждал меня не касаться веры, примолвив: «Антоний! Мне уже 51 год от рождения, и недолго жить в свете: воспитанный в правилах нашей христианской церкви издавна, несогласной с латинской, могу ли изменить ей пред концом земного бытия своего? День суда небесного уже близок: он явит, чья вера, ваша ли, наша ли, истиннее и святее. <...> Ты хвалишься православием, — сказал царь, — и стрижешь бороду; ваш папа велит носить себя на престоле и целовать в туфель, где

изображено распятие: какое высокомерие для смиренного пастыря христианского! Какое уничтожение святыни!»

Именно Антонио Поссевин и подал королю Сигизмунду совет исподволь начать подготовку унии с Римом православных южнорусских земель, до поры ни о чем таком не догадывавшихся. Поссевин считал возможным и даже необходимым оставить для будущих униатов в неприкосновенности привычное им богослужение, обычаи и обряды, с тем чтобы, исподволь воспитывая их в преклонении перед авторитетом Римской церкви, «матери и учительницы всех церквей», постепенно, в течение поколений, латинизировать их и таким образом привести в чистый католицизм. А перед тем — притеснять русских епископов — сверху — от короля и варшавского сейма, со стороны — от своих же собратьев, воюющих друг с другом за богатые монастыри и хлебные волости, и снизу — от влиятельных православных братств, обуздывавших, в меру своих сил, вожделения и чрезмерные аппетиты епископов. И обещать языком: вот примете власть Рима, и тогда все в Южной Руси нормализуется: у вас будет тот почет, которого вы заслуживаете и которого, без сомнения, достойны, и места на сеймовой лавице рядом с католическими епископами; владений ваших не только никто не тронет, но установленные границы их под страхом казни и жестокого наказания никто не посмеет больше переступить и нарушить; братства будут просто распущены и накрепко запрещены; восточных патриархов, турецких пленников и шпионов, смутьянов и грабителей ваших, больше не пустим на Южную Русь побираться и морочить вам голову соблюдением канонов... Только одно от вас требуется: всего-навсего признать верховную власть римского первосвященника, склонить под его благословляющую длань свои буйные головы и привести в ограду Рима свое «малое стадо»...

Эта тактика и была успешно применена в оставшееся десятилетие до Брестского собора.

Казалось бы, все содействовало ко благу и успеху устроителям унии — восточные патриархи далеко и в пленении, с Москвой — спорадическая война по всей протяженности рубежей, епископы — погрязшие в пороках и преступлениях, кое-кто, как, например, Онисифор Девочка, киевский митрополит, не просто женаты, но даже и двоеженцы. Так, к примеру, о том, члены Львовского братства в своем заявлении 1600 года упоминали о таковых по еще довольно свежим следам:

«В духовном сословию умножились беспорядки при худом пастырстве киевского и галицкого митрополита Онисифора Девочки, двоеженца и человека веры сомнительной. Он дозволил епископам быть двоеженцам, а иным епископам жить с женами, несмотря на монашеские обеты, и намножил несколько тысяч попов двоеженцев и троюженцев, подозреваемых в разных преступлениях»...

Все, буквально все содействовало в деле устройства унии с Римом, но в реальной жизни оказалось значительно сложнее. Я бы даже сказал: трагичнее, — потому что этот проект был по сути подобен «ящику Пандоры», из которого вырвались все последующие страшные беды Речи Посполитой, загнавшие ее в конечном итоге в тлен и в историческое небытие.

В то время, когда душа моя обмирала и ужасалась от этого ледяного дыхания бездны, ожидавшей совсем в скором времени государство, которое было отечеством всей цепочке нашего рода польских осадников Маршалков-Язловецких, мои сокурсники и приятели по учебе особенно не парились и не заморачивались подобным: пили вино, снимали девиц на Крещатике и расплывались в фотостудиях или мастерских знаковых художников, которых в те начальные 1980-е годы в столице Советской Украины было просто немеряно. Все было по-молодому пьяно и весело — южный приветливый город, роскошная и щедрая к человеку природа, бархатный воздух, загустевающий в пряных запахах первоосени, когда багряными и золотыми прядями прорежается густая и плотная, темная зелень лесов, парков, бульваров, когда так хочется чего-то такого, чему нет названия, — то ли любви, то ли простого безмолвного созерцания над вечным покоем, как на одноименной картине Левитана, но вовсе не предаваться этим печальным размышлениям над старыми книгами и не скорбеть о том, что произошло из-за той неумности короля Сигизмунда, чье царствование в современной Польской народной республике почитается пиком, расцветом государственного могущества Речи Посполитой и даже именуется «Золотым веком», о чем и свидетельствуют могучие и неоспоримые факты. Ведь действительно сидели поляки в Московском кремле, ведь едва не стал сам Сигизмунд регентом своего сына Владислава, нареченного царя Московского, — разве этого мало?.. Разве все это — ни о чем?..

После низложения Василия Шуйского летом 1610 года московское правительство (Семьбоярщина) признало сего Владислава настоящим царем и чеканило уже от имени 15-летнего «Владислава Жигимонтовича» монету. Это ли — не вселенский успех его отца Сигизмунда?.. Владислав только в 1634 году отказался от титула великого князя Московского и за 20000 рублей вернул москвитам обратно царские регалии

и корону, полученные от бояр в далеком 1610 году. Говоря иными словами, 24 года он пробыл «нареченным московским царем» и просто по досадному недоразумению не успел принять царство фактически. Бояре всего-навсего выдвинули условие о принятии им православия, а он легкомысленно отказался его выполнять и остался правоверным католиком. Это и стало решающим фактором, и Москва уплыла из его рук, как весенняя льдина на днепровской стремнине.

Царствование Владислава IV вообще оказалось последней относительно стабильной эпохой в истории Польши, хотя именно при нем началось восстание запорожских козаков под руководством Богдана Хмельницкого. Да и раньше, в 1637 и 1638 годах, им были подавлены два других козацких восстания — Павлюка и Остряницы. Но при этом все-таки — «относительно стабильная эпоха», по мнению исследователей и историков Польши... А что же говорить о времени после его смерти?.. Его просто назвали «Потопом» — Речь Посполитая, отягощенная нескончаемой Хмельниччиной и вторжением Швеции, погрузилась в хаос и анархию. Такими и оказались реальные плоды «мира и безопасности», провозглашенные Сигизмундом III перед Брестским собором.

При этом надо особо отметить, что на знаменах восставших были начертаны слова о «скасовании унии, этой кости раздора», и это требование об «успокоении религии греческой» в тех или в других вариациях повторялось все время, начиная с 1600 года, когда православные наконец-то осознали, каким подлогом оказался Брестский собор, в льстивых словах исповедовавший мир и любовь, но на деле разделивший единый дотле народ.

Оказалось, что не только мало успехов, достигнутых в Смутное время, а до Смуты в деле «соединения» двух ветвей христианства, а просто губительно, ибо в этих мнимых победах таилась та червоточина, которая сгноила на корню все государственное древо, свела на нет как собственные достижения этих двух королей из династии Ваза, так и подвиги предыдущих поколений — поляков, литвинов и русских — по собиранию единого государства, скрепленного Люблинской унией, из Польши и Великого княжества Литовского и прилежащих земель и таких значительных городов, как, к примеру, Смоленска на восточных своих рубежах.

Сгнило все дерево, рухнуло и рассыпалось в прах. Вот — этот конечный итог, этот страшный сухой остаток. Остались лишь корни, пускавшие слабые пагоны обреченных восстаний и бунтов, срезаемых острым российским имперским серпом. Мне же суждено было все это понять и уразуметь, чтобы... оплакать? Нет, не оплакать, но все-таки скорбеть о народе, к которому я по природе своей принадлежу и который стал обреченным заложником унии, католицизма и духовных притязаний папского Рима, Общества Иисуса и верхоглядства горделивого короля Сигизмунда III Вазы.

Глава 11. ПОЛЕМИКА В СТЕНАХ ОБЩАГИ НА БОРЩАГОВКЕ И В КОБЕЛЯКСКОМ ГЕНДЕЛИКЕ

Сосед мой по общаге по прозвищу Бова просто мне заявлял:

— Лешек, какого хрена надо тебе в этой гребаной «историчке»? Наших скромных познаний, которые мы получаем в универе, вполне хватит для обучения сельских детей где-нибудь в Верхней Жужманивке или в Нижней Колупаевке, куда нас скоро отправят по распределению. Ну а пока — пей, гуляй, веселись в славном городе Киеве, матери городов русских!

— Ну вот, — мямлил я, — униаты в веке спровоцировали... А потом — гайдамаки во время Колиивщины резали поляков, евреев и униатов на Правобережье... А потом...

Но Бова тут перебивал меня «супом с котом» и хорошо, что не смеялся в лицо.

— Лешек, — резонно говорил он, мудрый не по годам, начесывая длинные хипповые патлы перед зеркалом и готовясь к выходу на «бродвей», — ну вот даже телки у тебя нет постоянной. Даже Галюня с математического ушла от тебя, потому что тхнет от тебя этими никому не нужными пергаментами с архивной помойки!.. Какие-то униаты... Да их давно уже нет: сами присоединилась к нашей церкви после войны, — дураки ты, Маршалок!..

Что ответить мне было этому мудрецу из Недогарок, дорвавшемуся до столичного обильного плода — волооких девиц, приехавших в Киев, как и мы, из своих Максимовок, Козельщин и Недрыгайловок покорять этот мир, выходявших на киевский «брод» после лекций по микробиологии клетки или поклейки обоев в сталинских писательских домах на Печерске, где вековали и без устали с благодарностью за коммунальные блага воспевали социалистические достижения всяческие коротычи и драчи, а то даже и зажившиеся на этом свете участники первого, горьковского, съезда совписов 1934 года? Да нечем было мне крыть Бовины неубиваемые козыря.

Бова отправлялся подметать клешами Крещатик в вожделении не совсем запрет-

ного плода женской плоти и скоротечной, ни к чему не обязывающей любви, а я оставался куковать на панцирной общаговской койке, все размышляя о судьбе Речи Посполитой. Непонятно только — зачем и к чему?

Примерно то же происходило и в беседах со Сороштаном, когда мы, валяя дурака и бездельничая в Кобеляках, сидели либо на пляжике под деревянным грибком, либо в генделике на ворсклинской набережной.

Я что-то вкратце пытался ему рассказать о Бресте и о том, что происходило после Собора 1596 года, — Сороштан слушал меня с интересом, а затем как-то сказал:

— Лешек, вообще-то ты, как природный поляк, правда, несколько утративший национальную идентичность свою, должен бы сочувствовать русским епископам-перемещикам, не правда ли? И горой стоять за эту самую унию с вашими папами и мамами в Риме, — а ты?.. Более того, я ожидал от тебя агитации, что, мол, давай уже, хохол, не туши, а становись адептом этой великой идеи и дела преодоления тысячелетнего раскола православия и католичества: складывай лапки и славь по меньшей мере нынешнего римского активиста Иоанна-Павла II! А ты?.. — Сороштан отхлебнул из бокала кременчугского «Желтого аэроплана» и, зыряка насмешливо на меня, продолжил: — А ты вот явно сочувствуешь православным...

— Да нет, — ответил я, — не сочувствую я никому. Просто хочу разобраться в той ситуации, когда под видом доброго дела только усугубили раскол, и, если проводить аналогии, годами мирно торчащий прыщ где-нибудь в районе морды и шеи растревожили, разворошили грязными пальцами, он начал саднить и болеть, стал расти и в конце концов прорвался и залил все смрадным гноем...

Тут Сороштан упредил меня:

— Не просто залил гноем морду — это бы ничего, но оказался вполне раковым или же роковым — как ты думаешь? — образованием, сгубившим весь организм, — ты же сам мне рассказывал, что Речь Посполитая склеила ласты и приказала жить долго и счастливо, — но уже без нее.

Глава 12. ГАЛЮНЯ БЕЛИК ИЗ СЕЛА БЕЛИКИ ПОД ПОЛТАВОЙ

Я и сам в какой-то мере оказался подобен тому государству, история которого так меня захватила и увлекла. Я будто бы жил, но это только казалось, — ведь моя настоящая жизнь, по сути, была в далеком прошлом, со всеми этими неурядицами, восстаниями, церковными соборами, криком и галасом на сеймах в Варшаве, в стычках и битвах Хмельниччины, в резне униатов, поляков и евреев, прокатившейся по правобережным местечкам и городам во времена Гайдамаччины, в обреченности запоздалых польских восстаний против Российской империи, а потом — в орошенном обильно человеческой кровью 20-м веке...

Но жил я сегодня, в этом мимотекущем, блеклом и малопримечательном дне, от которого ничего памятного и значительного не остается, пребывал телом в славном городе Киеве, среди тысяч и тысяч людей, моих случайных и вынужденных современников, которые не только не знали ничего из того, что не давало мне спать по ночам, но и вполне остались бы равнодушны, если бы даже узнали о том, что тут творилось. Таково устройство человека. Все забывается, ничто, пока не касается лично тебя, не тревожит и не беспокоит. Череда дней, забот, мельтешение необязательных встреч, треск досужих и ни о чем разговоров... Этим ли жить?..

Отчасти — и этим.

Галюня Белик с математического факультета, о которой без устали напоминал мне Бова-сосед, приехала в Киев из села Белики на Полтавщине, прославившегося на всю Украину козырной сгущенкой. Половина села носила фамилию Белик и почти полным составом сгущало без устали окрестное молочное море с ферм и частных хозяйств в этот сладкий прекрасный продукт. С Галюней мы были земляками — Белики от Кобеляк находились в 16 километрах, но если кобелякская молодежь психологически тяготела к промышленному Кременчугу, откуда к нам доносилась новая модная музыка из серии «Запишите на ваши магнитофоны», мода на джинсы и полотняные самострочные блейзеры, то юношество из Беликов, возросшее на неконтролируемых никаким ОБХСС сгущенке и краденом сахаре, больше тяготело к Полтаве, где много чего было вроде бы интеллектуального, в отличие от профанного Кременчуга: и театр, и несколько важных и значительных институтов, особенно же медицинский и строительный, а стоматологический факультет полтавского «меда» до сей поры считается лучшим на Украине. Да и картинная галерея с краеведческим музеем, неплохо укомплектованным старинными самопалами и саблями козаков Полтавского полка, там тоже имелись. Прибавить сюда следует и музей Полтавской битвы с монументом и братской могилой шведов, легких костюмов в славном сражении, с петровскими чугунами и пушками и легким оружием противостоящих сторон... Да и архитектурно Полтава превосходила

«наш» Кременчуг, почти полностью разрушенный во время войны, — чего один Крестовоздвиженский монастырь на холмах Червоного шляха стоит — о чем говорить?.. А писатели-полтавчане? Тут достаточно упомянуть одного-единственного Ивана Котляревского с его бессмертными «Перелицованной Энеидой» и «Наталкой-полтавкой», — Кременчугу нечем тут крыть: разве что Пушкин по пути в Бессарабию тут на порогах, любуясь на Днепр, простудился, да вислоусый кобзарь в своей русоязычной прозе помянул название города, — вот, собственно, и вся слава его. Правда, есть еще и косвенные свидетельства некоей причастности города к «большой» советской литературе — отец Самуила Маршака жил, не тужил здесь в многолюдном еврейском кагале, да Остап Бендер вскользь упоминает о своем «голодном детстве в Кременчуге», по всей вероятности, там же. Ну да, вот еще можно припомнить быль о том, что когда Екатерина II в 1787 году на нескольких царских плотах с огромной свитой придворных сплавлялась из златоверхого Киева вниз по Днепру обозрывать новоприобретенные после войны с турками обширные земли Новороссии — и ей больше всего на Днепре приглянулся именно Кременчуг. По слухам, она даже сказала что-то вроде того, что, будь ее воля, именно здесь, на изгибе Днепра, она основала бы столицу Российской империи. Только опоздала немного... По крайней мере она написала в Петербург следующее:

«В Кременчуге нам всем весьма понравилось, наипаче после Киева, который между нами ни единого не получил партизана, и если бы я знала, что Кременчуг таков, как я его нашла, я бы давно переехала. Чтобы видеть, что я не попусту имею доверенность к способностям фельдмаршала князя Потёмкина, надлежит приехать в его губернии, где все части устроены как возможно лучше и порядочнее; войска, которые здесь, таковы, что даже чужестранные оные хвалят неложно; города строятся; недоимок нет. В трех же малороссийских губерниях, оттого что ничему не дано движения, недоимки простираются до миллиона, города мерзкие и ничто не делается...»

Ну и попутно как тут не сказать нескольких слов также о том, что к ее историческому проезду градоначальством был разбит огромный регулярный парк, засаженный реликтовыми деревьями, выкопано рукотворное озеро, дно которого было вымощено плитами черного мрамора, выстроена Триумфальная арка... От парка этого практически ничего не осталось — арку порушили, две трети парка ушло под производственную территорию цехов Кременчугского завода дорожных машин, а в рукотворное красивейшее озеро «Дормаш» начал сливать горячую техническую воду, которая использовалась для охлаждения каких-то тамошних механизмов — над озером поднимался густой пар, вода не замерзала даже зимой, и почти круглый год была очень теплой, — кременчужане озеро прозвали Горячкой. В Горячке с удовольствием плескались местные пацаны — с Хорольской, с Чередников и с Новой Ивановки, хотя, как я думаю ныне, купание то было все-таки не безвредным. По крайней мере, на берегу озера стоял щит с грозным запретом, да и сейчас, когда в озере никто давно не купается, а «Дормаш» в результате прогрессивных экономических реформ дышит на ладан и техническую воду больше туда не сливает. Почему-то и рыбалка в Горячке запрещена тоже.

Хотя гулок и пуст был Кременчуг в интеллектуальном отношении в сравнении с Полтавой, но все-таки молодые слесари и фрезеровщики с автомобильного, «Дормаша», вагоностроительного и колесного заводов весьма волокли в западной музыке, превосходя в этом смысле местечковых полтавских интеллектуалов, заточенных в лучшем случае на своих земляков Котляревского, Григория Сковороду и хор имени Веревки, — по крайней мере в том были уверены сами кременчугские вьюноши. Что было причиной тому, сказать трудно, может быть, обильное переселение на пенсию в Кременчуг, на днепровские берега, в жилищные кооперативы на когдатошнем огромном пустыре на песчаной горе воркутинских шахтеров с великовозрастными детьми, пополнявшими ряды местных модников на улице Ленина, может быть, предприимчивость Толика Кибальника по прозвищу Чили, который регулярно ездил в Харьков на тамошнюю музыкально-пластиночную толкучку, под ударами правоохранительных органов то и дело мигрирующую по окрестным оврагам, суходолам и балкам, — Чили привозил в Кременчуг новые диски, новые имена, плакаты невиданных групп, много рассказывал и многое объяснял желторотым о том, что такое «новая музыка» и в чем отличие ее от совдеповских комсомольских ансамблей и разных кобзонов с их «Ленин такой молодой и юный Гайдар впереди». Вокруг Чили со временем сгруппировалось некое музыкальное сообщество — Коша, Шурик Айнаманович, Димара, Файерболист, Битловский, Митя Осадчий, Вадюра, Вовушан и другие, чьих имен мне не вспомнить уже. Вовушан частенько приезжал к нам в Кобеляки, продавал пацанам из «Красного свиновода» фотографии «волосатиков», привозил бобины с новыми музыкальными записями, приятельствовал со Сероштаном, да мы и сами частенько назевжали в Кременчуг, поэтому петровские победные пушки и Шведская могила были нам, так сказать, глубоко фиолетовы. В ту пору мы бредили Элисом Купером, венгер-

ской «Омегой» и группой «Atomic Rooster», — что нам было до Полтавской виктории и всего прочего во главе со стоматологическим факультетом и «Перелицованной Энеидой»? А тем более что нам было до «Наташки-полтавки»?..

Потому так и получается, что ментально и даже в каком-то смысле психологически молодежь из Беликов и Кобеляков весьма разнилась между собой, но, может быть, это и сблизило нас с Галюней Белик из Беликов, славных прежде одной только сгущенкой, а потом и женской удивительной красотой, когда мы случайно сели в один вагон раздолбанного пригородного поезда в Полтаве в достижении златоверхого и сказочного Киева, в достижении начала нашей новой во всем жизни там, на холмах над Днепром, под каштанами, на крутых спусках-подъемах киевских мостовых, где, если получше прислушаться, можно было различить поступь прошедших веков. Шелест листвы и травы, шелест страниц моих манускриптов в Исторической библиотеке, и даже первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины Петро Юхимович Шелест, снятый недавно совсем с поста за какую-то «козакофилию» с привкусом украинского национализма, — все шелестело, манило и обещало во всем новую жизнь, отличную от прозябания в Кобеляках.

Случайно ли мы оказались в одном и том же вагоне? Но ведь еще Ницше заметил, что «случайная встреча — самая неслучайная вещь на свете». Правда, ни я, ни Галюня тем более не знали тогда ничего о Фридрихе Ницше. Да и теперь — знаю ли я?

Но мы с Галюней, на пути к новому и небывалому еще с нами, почему-то уцепились репейниками друг за друга в некоем, как я понимаю сегодня, страхе перед этой новизной, ожидающей нас в Киеве. Мы подсознательно пытались в нашем только что завершившемся прошлом обрести тот оселок стабильности и неизменности, которые вроде бы были присущи вполне себе умозрительным Кобелякам и Беликам, откуда только что мы вырвались, как из плена, добрались до Полтавы, чтобы сесть в пригородный поезд до Киева, где нас, вероятнее всего, поджидало сиротство, одиночество и ненужность. Или же нет?.. Но слава, богатство, новые товарищи и друзья, с которыми мы каким-то чудесным образом изменим этот мир в лучшую сторону?.. Да, скорее всего, так и казалось нам, юным, наивным селякам с Полтавщины, — второе, конечно же! Но сбылось с нами как раз первое.

Любил ли я Галюню потом, уже в Киеве, после того, как наши взгляды встретились в кособоком вагоне, несущем нас с ней в новую жизнь, и я развязно, на самом же деле несмело и робко, подошел к ее лавице? Не знаю, не могу определить это сейчас, спустя много лет, когда и от меня самого, как от моей исторической Речи Посполитой, ничего не осталось, кроме разве что остывших углей. Я тяготился пребыванием в Кобеляках до отъезда на учебу в универ — Сероштан уже отбыл в Москву, сестра моя Кася по окончании восьмого класса отправилась в Кременчуг и поступила в медицинское училище там, и никто — ни Сероштан, ни Кася, ни Шоня и никто из знаемых мне — не собирались возвращаться в родной городок, чтобы связать с ним дальнейшую свою жизнь, — и вот теперь, еще на полтавском перроне приметив высокую статную девушку, красивую той редкой природной украинской красотой, какой, по всей видимости, уже и не должно было остаться после всего, что выпало на долю украинцев, да и всех остальных, в 20 веке — революции, Гражданской войны, голода в 1930-х годах, войны, немецкой оккупации и последующего освобождения, — но вот ведь чудо какое стояло в некотором отдалении от меня на перроне с сумкой харчей и красным чемоданом с девическим барахлом, — высокая, статная, черноволосая дочь Полтавщины, сохраненная, как сокровище, на тайном хуторе под глухотным селом, — с высокой белой шеей, с соразмерным прекрасным лицом, с этим прищуром глубоко посаженных голубых глаз, издревле мудрых женской практической сметкой, длинноногая, длиннорукая, приуготовленная щедрой природой, не поскупившейся на ее благоукрашение, к любви, рождению детей и воспитанию их, и ко всему прочему таинственно-женскому, влажному, нежному, сокровенному и вместе с тем чистому, — да вот где только обрести те слова, чтобы с точностью это все выразить? Я, еще даже не сев в поезд, был повержен, сражен и ошеломлен этой девицей. В Кобеляках, а тем более в «Красном свиноводстве» на другом берегу Ворсклы, таких девушек не было. Разве что в Кременчуге блистала легендарная Наташа Некрасова, отрицая красотой смысл своего фамильного прозвища, дочь офицера-артиллериста, вернувшегося из трехлетней венгерской командировки, но Галюня весьма отличалась от Наташи именно подчеркнута национальной, украинской красотой. Но чего-то в облике ее все-таки не хватало, — так мне показалось тогда. И когда с лязгом и вонью подошел наш закопченный пригородный поезд «Полтава — Киев» и провожавший Галюню кремезный дядька в пожелтевшей дедовской «вышиванке», добытой из сундука по случаю поездки в областной центр, перекрестил украдкой и поцеловал девушку в лоб и передал ей, взошедшей уже в тамбур, чемодан и торбу с харчами, в которой, как выяснилось уже в Киеве, среди громадных пирогов с вишнями, зеленым луком и яйцами, блинчиков с тончайшим божественным

творогом и запеченной свинины была еще и трехлитровая банка со сгущенным молоком, — «из Беликов иначе не выезжают, — сказала Галюня мне, улыбаясь, — это наше стратегическое оружие по завоеванию мира», — я понял, чего ей все-таки не хватало: нарядного наместа-мониста, алых кораллов, спускающихся с высокой шеи на высокую грудь. Ну и, возможно, венка из полевых ромашек на голове с разноцветными лентами, — хотя, если разобраться по существу, это уже было бы китчем и перебором в стиле народного хора Павла Отченаша во Дворце культуры Кременчугского автозавода, или просто агитплакатом, живописующим счастливую жизнь на социалистической Украине под заботливым и мудрым началом коммунистической партии, хотя и исповедующей интернационализм со всеобщим равенством-братством, но при этом парадоксально и заботливо возвращающей национальные культуры Союза.

Конечно, ничего подобного Галюне я не сказал, хотя и заливался перед ней соловьем и распускал хвост до самого Киева, поглощая бабусины пирожки с вишнями, мамины блинчики с творогом и осторожно прихлебывая божественную казенную сгущенку через край отверстой горловины банки. О чем я рассказывал, Господи, этому прекрасному существу, превосходящему меня мудростью и умом от природы, — разве вспомнишь теперь? Да и о чем я мог ей рассказать, если и сегодня, после целой кучи впустую прожитых лет, мне нечего сказать этому миру, который я старался зачем-то понять в юности, в молодости, всю свою жизнь?..

Галюня смеялась моим рассказам о нашеньких Кобеляках, о наших подростковых забавах, о посещениях Кременчуга, о джинсах и майках с битлами, о старлее Логунове и о Вадике Геле с его «Киевом», столице государства потенциального противника, чем Вадик блеснул на политзанятиях нашей роты под Николаевом, о музыке, — как же без этого? — о рок-опере «Jesus Christ Superstar», об Элисе Купере, «певце насилия, секса и смерти»...

— Лешек, — спросила она, когда я помянул расхожее газетное коммунистическое клише той поры об Элисе Купере, — а шо такое «секс»?

За мутным вагонным стеклом уже проплывали киевские пригороды, и я сразу не сообразил, что ответить Галюне на это. Что-то промямлил невразумительное. Или же отшутился коряво? Сейчас мне не вспомнить.

Действительно, а что сам я ведал о сексе?

Что-то постыдное, грязное, запретное, невероятное греховное, если не преступное, темное адовой темнотой, но при этом отчего-то присущее человеку от сотворения мира, — и даже весьма обостренно — нам, пацанам, — оскорбляющее девушку, женщину одной только мыслью о том, чтобы притронуться к девическому колену, или, страшно помыслить, груди, не говоря уж о том, что было у них ниже пояса, между ногами... Ну, о том и вовсе нет разговора. Помню свое изумление, граничившее с ужасом конца света, когда я вдруг понял, что моя мама зачала меня в невероятном греховном соитии с папой, — и она — *тоже*?! (Ну просто сродни последним словам Юлия Цезаря о Бруте). Я сидел в зрительном зале ДК имени Клима Ворошилова, и, кажется, вот-вот должны были начаться «Неуловимые мстители» или что-то подобное, — уже тихо меркло верхнее освещение, кто-то спешил занять свое место и протискивался, задевая колени сидящих в предвкушении меткой стрельбы и лихих погонь «красных дьяволят» революции, затихали разговоры и шум, — и вот тогда-то и пробило меня то острое знание об отстраненном этом понятии совокупления мужчины и женщины, которое никоим образом не сопрягалось во мне с моими родителями, — что и они — *тоже*... Я был просто оглушен и раздавлен.

Сколько же лет было мне в ту пору? 10-12?.. С кем был я в кино? Со Сероштаном или с Чаной Лебедченко, с Шоней или с кем-то другим? Но я не поделился этим ни с кем из приятелей. Да и глупо было бы обсуждать это с кем-то еще. И, вернувшись домой, кажется, довольно долго я сторонился мамы, не в силах усвоить и примирить в душе это новое для меня знание, примирить его с теми иллюзиями, в которых нас воспитывали в те времена, найти ему место. Может быть, тогда и было положено начало моему последующему разочарованию в матери, а через нее и в женщинах, которые, как оказалось, вовсе и не были теми небесными ангелами, сошедшими в наш жестокий и грубый мальчишеский мир ради нашего же успокоения и обволакивающей, смягчающей нашу природную угловатость любви.

Что мог я ответить Галюне, если и самому себе еще не ответил?

— Это плотское совокупление, — сказал я, — но без любви...

Поезд уже останавливался. Мы приехали. Собрали манатки, Галюня надвинула пластмассовую крышку на баллон со сгущенкой, все распатроненное в дороге съестное упаковала в промасленный лист «Комсомольца Полтавщины» и уже в проходе между скамеек сказала:

— А что такое любовь?

Девочка, — хотел я сказать ей, — для того, чтобы это понять, нам и даны эти мимо-

летные и обманчивые дни нашей молодости, юности, а тебе еще и эта опасная, обманная красота, и неопасенье твое, и доверчивость, которые совсем скоро увянут, исчезнут, будут растоптаны под пустые слова о любви, за которыми ничего нет, кроме разве что известного вождения...

Может быть, это сегодня я умный такой, говоря об увяданье и о всем прочем, — но разве тогда, в свои 20 лет, я сам не верил в любовь, разве понимал, что все так скоротечно в этом мире — и молодость, и телесное здоровье, и человеческие привязанности, чувства, дружбы, отношения; разве понимал и знал я о том, что половина моих одноклассников и киевских однокурсников по университету не доживут даже до сорока лет — кто умрет от губительных последствий Чернобыльской катастрофы, кто от алкоголизма, кто-то просто покончит с собой от страшной совдеповской безнадёги 1980-х годов, кто-то просто сойдет с ума и исчезнет в дурдоме; что рухнет и рассыплется в прах глиняным исполином нерушимый Союз, и на национальных окраинах, вовсе не скрепленных цементом декларируемой «дружбы народов», начнется война всех со всеми; что и сама социалистическая и полусонная Украина прежде будет испытана на прочность Чернобылем, а потом независимостью с чередой президентов — партаппаратчиком, директором оборонного завода, коллекционером козацких древностей и ископаемых артефактов трипольской культуры и по совместительству банкиром, неудачником-рецидивистом, в отрочестве сидевшим в кременчугской зоне для малолеток, круглолицым кондитером-оружейником, кровно заинтересованным в продолжении войны на Донбассе, а теперь вот и комедийным актером с местечкового телевидения?..

И просто сказал строфами Евгения Боратынского:

*Храни своё неопасенье,
Свою неопытность лелей;
Перед тобою много дней:
Ещё уловишь размышленье...*

Боже мой, а ведь прошла с той поры вся моя жизнь...

А тогда, в 1977 году, скорее всего Галюня даже не поняла, что имел я в виду, что я там такое пробормотал — да и как тут было что понимать, когда мы вывалились на кшащий народом перрон, среди носильщиков, баулов, клунков-узлов, чемоданов, — в мир, в котором начиналась наша новая жизнь, — что-то там о любви?..

Глава 13. МУЧЕНИЧЕСТВО ЗА ПЕРВЕНСТВО ПАПЫ И ИОСАФАТ КУНЦЕВИЧ

Что мог сказать я недогарскому моднику Бове, или Сероштану, сгинувшему в далекой Москве, или даже той же Галюне, — что я мог объяснить? Что не живу в этом мире? Что променял этот день, исполненный разнообразным фоновым шумом, бессмысленными разговорами, ревом автомобилей, телефонными звонками, распитием дешевого вина-бормотухи или потреблением подкисшего пива в генделиках под все те же навязшие в зубах разговоры о ценах, о генсеке Щербицком из ЦК КПУ, о нашей братской помощи Афганистану в деле строительства социализма, и что советский «калаш» надежнее будет в пустыне американской винтовки M16, о бессмысленном блуждании по тротуарам и убогих фантазиях под освещенными окнами многоквартирных домов, которые только усугубляли мои бездомность и одиночество? О лекциях, большая часть которых была скучна, пресна и не нужна — по крайней мере мне так казалось тогда. Что мог написать я домой, кроме того что все хорошо, я учусь, вот сдал зачет по ленинской работе «Материализм и эмпириокритицизм», и скоро экзамен — по истории коммунистической партии, но мне совсем не хочется читать всю эту идеологическую лабуду, что деньги у меня все еще не закончились, и не вздумайте мне присылать сюда ничего, и чувствую я себя хорошо?..

На самом же деле относительно хорошо я себя чувствовал только в библиотеке, закапываясь в дела и заботы давно минувших дней, хотя, если разобраться, все-таки не совсем хорошо — да и можно ли было остаться спокойным и рассудительным, когда с ветхих, траченных времен страниц манускриптов вставали чередой герои и анти-герои польской истории, беззвучно гремели пушки, трещали мушкетные залпы, ломались копья, затаптывались конскими копытами расшитые золотыми гербами хоругви дворянских родов, серебряные кирасы на молодецких грудях отважных отпрысков древних польских фамилий пробивались насквозь черными запорожскими пиками; города погибали в огне; на плахи, черные от запекшейся крови, летели обритые козацкие головы с выпученными глазами, тысячи высохших на солнце тел казненных для устрашения сидели по полгода на высоких пиках-колах на перекрестках дорог, и ветер раскручивал их, будто бы флюгера, — но это не утрашало русинов, но только

озлобляло еще больше и больше; по степям, по Дикому Полю бесконечными, многотысячными табунами ненасытные татары гнали к Перекопу славянский «ясырь», добычу для невольничьих рынков Европы и Азии, взятый набегом в Южной Руси, в Малой Польше и на Волыни, а то и под самой далекой Москвой...

Трудно было мне оставаться спокойным и рассудительным...

Мирные дебаты на сеймах в Варшаве постепенно сошли на нет из-за своей полной бесперспективности, когда православная шляхта, — такие люди, как Лаврентий Древинский, и прочие православные полемисты, — еще имели надежду словами и увещеваниями уговорить короля и правительство ослабить притеснения на местах и вернуться к прежнему юридическому состоянию Русской церкви до рокового рубежа 1596 года. Сигизмунд III сошел в могилу все таким же непреклонным и горделивым монархом, ненавистником как православия, так и протестантизма с его арианами — польскими и чешскими братьями, лютеранами и кальвинистами, исповедовавшим роковой для «державы без вогнищ» принцип *cujus regio, ejus religio*, или «чья власть, того и вера».

Василий Беднов сообщает:

«Только 14 марта 1633 года избранный в 1632 году после смерти Сигизмунда король Владислав IV признал легальное существование Киевской православной митрополии и четырех епархий, которые до того времени существовали явочным порядком (Львов, Луцк, Перемышль и Мстиславль). Им была предоставлена полная свобода веры; утверждались права братств, школ и типографий, возвращались некоторые церкви и монастыри. Эти решения, однако, вызвали мощную оппозицию со стороны католиков и униатов, и осуществлять их на практике было чрезвычайно трудно. Униаты не хотели возвращать лучшие церкви и монастыри; униатские епископы не уступали свои места православным. Правительство не было в состоянии сдерживать ни нападения католиков и униатов на православные монастыри, ни повседневное насилие по отношению к православным. Особенно частыми стали злоупотребления правом патроната, доходившие до того, что церкви сдавались в аренду евреям, а те требовали платы за каждое богослужение...»

Униаты, что говорить, уже привыкли первенствовать на Руси и снимать «духовные сливки», жать то, что не сеяли, да и с Бреста прошло по меньшей мере 40 лет, и сменилось уже два поколения как духовенства, так и русинов, некогда подлогом переведенных в новую, так сказать, «церковную организацию». Для новых поколений вольняков, галичан и литвинов уния становилась постепенно даже «верой отцов», что и понятно. С отдалением от событий в Бресте таковых «потомственных» униатов становилось все больше и больше. К тому же пантеон униатских «мучеников за веру» неуклонно пополнялся: запорожцы при случае в Киеве и в других городах казнили, рубили и топили униатских монахов, священников и ревностных не по разуму приверженцев Бреста, — ну а что еще могли они делать?.. Только то, что умели: воздавать по-ветхозаветному «зуб за зуб» и «око за око»...

В полемической переписке Иосафата Кунцевича с великим канцлером Великого княжества Литовского Львом Сапегой я нашел такую вот жалобу будущего мученика за первенство папы:

«Стало быть, им свободно униатов топить, казнить. Несколько лет назад утопили нам киевляне великого человека, отца Антония, игумена Выдубицкого. В прошлом году казаки в Шаргороде протопона зарубили за то, что был униатом...» — описывал полоцкий архиепископ невзгоды новой церкви в январе 1522 года.

Но вскоре и самого Иосафата постигла такая же участь.

Иосафат Кунцевич, прозванный православными «душехватом», стал настоящей находкой и драгоценным приобретением для молодой и беспокойной польской подруги по имени «уния». В 1614 году митрополит Иосиф Рутский, преемник одного из главных устроителей Брестского собора Ипатия Поцея, третий по счету первоиерарх униатов, сделал Кунцевича архимандритом Троицкого монастыря в Вильне и тогда же призвал его в Киев для помощи в обращении киевлян туда, куда надо. В Киево-Печерском монастыре, видя отказ монахов переходить в униатство, Кунцевич стал настаивать на преимуществах унии и произносил такие богохульные речи, что смиренные иноки возмутились весьма, стащили его с амвона и сильно избили.

Я пытался представить себе эту картину и, честно сказать, не смог. Но именно такой человек, решительный и беспощадный в сильных поступках, и требовался митрополиту. И уже тогда, в Киеве, в 1614 году, избивание его во время богословского диспута в Лавре монахами оказалось промыслительным для будущего мученика. Жить ему оставалось всего девять лет, но и в столь короткое время он многое успел чего сделать.

Спустя четыре года Рутский возвел Иосафата в сан архиепископа Полоцкого, и тот так рьяно взялся за дело, используя уже в полной мере свою административную власть, что православные даже не знали, как и чем противостоять рьяному архиерею.

В октябре 1618 года при попытке посещения Могилёва власти города решили просто закрыть перед ним городские ворота и даже пригрозили расправой, что было сочтено не просто неслыханной дерзостью, но и бунтом. Кунцевич пожаловался на могилевцев королю Сигизмунду III, и кары не заставили себя ждать долго: руководителей восстания казнили, на жителей наложили большой штраф и отобрали все православные церкви. Это событие вошло в историю под названием Могилёвского восстания. А перед этим, в июне того же 1618 года в Городце, Кунцевич едва спасся от расправы крестьян, категорически не желавших переходить в унию.

Уже эти три эпизода — насилие, неповиновение и последовавшие за этим смертные казни — свидетельствовали об особом характере архиепископа. Но все-таки — одно дело утопить в Днепре под горячую руку войта и игумена киевского монастыря, причем сделали это неистовые запорожцы, и совсем другое — выступить простым горожанам против своего архиепископа, который по положению своему принадлежал в тогдашней Речи Посполитой к высшему звену государственных управленцев, к неприкасаемой касте.

Ожесточение, особенно в Киеве, где фактически главенствовали одновременно два митрополита — униат Рутский и православный Иов Борецкий, поддерживаемый и ограждаемый запорожцами, — было обоюдным: был убит сборщик податей Рутского некий Оклинский, в 1624 году горожане напали уже на Софийскую слободу, ограбив двор самого Рутского. В январе следующего года в Днепре был утоплен войт Ходыка-Кобизевич, убит униатский священник Иван Юзефович... Нельзя сказать, что эти насилие и преступления были по душе православным иерархам, которые, без всякого сомнения, несли нравственную и административную ответственность перед властями за свою паству. Хотя и сами иерархи, по сути, не были признаны законом и королем. Кроме того, кое-кто и даже сам митрополит Иов начали внутренне склоняться к какому-то компромиссу с униатами, искать то, что могло бы примирить или хотя бы ослабить ту остроту противостояния, сложившуюся к этому времени. Однако и здесь решающее слово оставалось за весьма чутким народом, не желавшим слушать никаких уговоров в пользу перемирия, а тем более мира. Дошло даже до того, что козаки открыто угрожали расправой самому Иову Борецкому за мягкий настрой по отношению к униатам, и в его посланиях легко обнаружить эти завуалированное недовольство ими и некую собственную растерянность. Ну действительно, и это можно понять, — митрополит не знал, как ему быть: из Варшавы угрожал карами и казнями Сигизмунд III, под боком в Киеве неистовый наследник Ипатия Поцея Иосиф Рутский со своими клеветами отбирал и запечатывал храмы, преследовал и угнетал остатки православного духовенства и загонял силой и принуждением в новую церковь, а снизу — на городских посадах, рынках, в мастерских и воинских паланках грозно и молчаливо пребывали запорожцы и православные братчики, пристально следя за каждым шагом и движением митрополита. В этой атмосфере безнадежности Иов Борецкий в 1625 году даже отправил в Москву предложение ни много, ни мало присоединить Южную Русь-Украину к Московскому государству. Но после окончания Смуты и нашествия поляков для водворения на московском престоле королевича Владислава и едва не случившегося взятия Московского кремля Сагайдачным прошло всего-то семь лет, и Московия лежала в руинах — еще дымились пожарища на местах пограничных крепостей и дегтинцев, в казне было шаром покати, правительство во главе с молодым Михаилом Романовым совсем еще не окрепло, и собственных дел у московитов было невпроворот — куда тут еще Южную Русь принимать под державную руку?.. Да и не сулило такое деяние ничего хорошего, кроме новой войны, и совсем неизвестно, чья бы взяла на этот раз. Потому царь Михаил, его отец патриарх Филарет и Боярская дума скромно отказались от такого лестного и заманчивого предложения. Москве потребовалась еще четверть столетия, чтобы уже с полной ответственностью за последствия принять такое же предложение Богдана Хмельницкого и выступить на стороне восставшего народа, православных русинов, против национального и религиозного угнетения, говоря излюбленными терминами коммунистических идеологов советской поры.

Конечно, многие государственные деятели Речи Посполитой понимали пагубность и опасность для тогдашнего общества подобных действий архиепископа Полоцкого Иосафата Кунцевича. Так, великий канцлер Великого княжества Литовского Лев Сапега, который сам был не просто сторонником воссоединения христианских церквей, но даже активным организатором Брестского собора 1596 года, писал архиепископу следующее:

«Говорите, что вольно вам не униатов топить, рубить; нет, заповедь Господня всем мстителям строго сделала запрещение, которое и вас касается... Когда насилуете совести людские, когда запираете церкви, чтобы люди без благочестия, без христианских обрядов, без священных треб пропадали, как неверные, когда своевольно злоупотребляете милостями и преимуществами, от короля полученными, то дело

обходится и без нас; когда же по поводу этих беспутств в народе волнение, которое надобно усмирять, тогда нами дыры затыкать хотите!.. Печатать и запираить церкви и ругаться над кем-либо ведет только к пагубному разрушению братского единомыслия и взаимного согласия».

Лев Сапега, кодификатор и составитель Литовского статута, который с 1588 года до 1840 года в качестве кодекса законов действовал на территории Литвы и Белоруссии, когда на территорию бывшего Великого княжества Литовского было распространено российское имперское законодательство, выдающийся государственный деятель Речи Посполитой, отчетливо понимал, что ретивая, если не сказать подрывная, деятельность Кунцевича угрожает государственной безопасности Польского государства, — но как было загнать этого джина обратно в сосуд?.. Думал ли он в далеком 1596 году, когда устраивал вместе с епископами Южной Руси и королем Сигизмундом злосчастный Брестский собор, что доживет до этих неистовств как со стороны людей, подобных Иосафату Кунцевичу, так и ответных действий православных, козаков и мещан? По крайней мере переписка его с архиепископом свидетельствует о его сожалениях.

12 марта 1622 года Лев Сапега, за свои великие дела увековеченный на монетах и марках сегодняшней Белоруссии, пишет Кунцевичу столь важное письмо, что я не могу удержаться от того, чтобы обильно его не процитировать:

«...Признаюсь, что и я заботился об унии... но мне никогда и на ум не приходило то, что вы будете привлекать к ней столь насильственными мерами... Руководствуясь не только любовью к ближнему, сколько суетою и личными выгодами, вы злоупотреблением своей власти, своими поступками, противными священной воле и приказаниям Речи Посполитой, зажгли те опасные искры, которые всем нам угрожают пагубным и всеистребляющим огнем... Что касается опасностей, угрожающей вашей жизни, на это можно сказать: каждый сам бывает причиной своего несчастья... Посмотрим на ваши деяния: вы наполнили земские суды, магистраты, трибуналы, ратуши, епископские канцелярии позывами, тяжбами, доносами, чем не только нельзя распространить унию, но можно расторгнуть и последний союз любви в обществе и наполнить сеймы и управы разладом и ссорами... Огня униа — виновница этих несчастий!.. Давно уже в наших странах водворилась римско-католическая вера, и пока она не имела погражательницы себе в деле благочестия и подчинения святому отцу (папе), до тех пор славилась своею любовью к спокойствию, могуществом внутри и вне государства. Но как только связалась с какою-то сварливою и беспокойною подругой, терпит, по ее милости, на каждом сейме, на каждом собрании народном, на каждом уездном заседании разные раздоры и нарекания. Лучше бы, кажется, было сделать разрыв с этою неугомонною союзницей, потому что мы никогда не видали в нашей отчизне таких нестроений, какие посеяла среди нас эта благовидная униа... Вместо радости, пресловутая эта ваша униа наделала нам столько хлопот, беспокойств и раздоров и так нам опротивела, что мы желали бы лучше остаться без нее: так много, по ее милости, мы терпим беспокойств, огорчений и докуч. Вот плод вашей пресловутой унии! Сказать правду, она приобрела известность только смутами и раздорами, которые произвела в народе и в целом крае. Если — избави Бог — отчизна наша потрясется (вы своею суровостью полагаете к тому торную дорогу), что тогда будет с вашею униею?.. Вы своим неосмотрительным насилием подстрекнули и, так сказать, принудили народ русский к сопротивлению и нарушению присяги, данной его королевскому величеству... Разве вам не известен рапорт неразсудительного народа, выразившийся желанием его принять турецкое подданство, чем терпеть такое притеснение своей веры и благочестия?.. Но укажите, ваше преосвященство, кого уловили такую суровостью вашу, строгостью, печатанием и запираением церквей? Окажется, что в самом Полоцке вы потеряли и тех, кто доселе были вам послушны. Из овец вы превратили их в козлищ, повергли в опасность государство, а может быть, в погибель и всех нас, католиков...»

Обеспокоенный канцлер Сапега писал также и митрополиту Иосифу Рутскому:

«Еще: не только я, но и другие весьма осуждают то, что ксенз владыка Полоцкий слишком жестоко начал поступать в этих делах и очень нагое и омерзел народу, как в Полоцке, так и везде. Давно я предостерегал его в этом, просил и увещевал, чтобы он так жестко не действовал; но его милость, имея свои резоны, более упрямые, нежели основательные, не хотел принимать и слушать наших справедливых резонов. Дай Бог, чтобы последствия распоряжений и суровых действий его милости не повредили Речи Посполитой. Ради Бога, прошу вашу милость, вразуми его, чтобы он прекратил и оставил такую суровость в этих делах и могилевцам скорее добровольно те церкви уступил, не ожидая того, чтобы и без просьбы, и без поклонов сами они отобрали их у него. Боюсь, чтобы этого не было, потому что этому ближе, чем далее. Пожалуйста, ваша милость, держи его на вожжах...»

Но не для мира и благодати митрополит Рутский нашел в свое время в Вильне Иосафата Кунцевича, не для этого...

До насилия и пролития крови униатского архиепископа оставалось совсем немного времени, но православные все еще словами и мольбами взывали о помощи и справедливости, надеясь на какое-то чудо. На сейме 1623 года волынский шляхтич и королевский чашник Лаврентий Древинский снова выступил на защиту православных. Была составлена от всех православных к сейму просьба «против неистовств унии и латинства». Полякам напоминалось о том, что по основным законам Польши в ней должна быть свобода совести. В пример были приведены король Стефан Баторий и гетман Ян Замоиский, которые эту свободу соблюдали с достоинством. С историческими примерами была сопоставлена печальная картина преследования православных как полнейшее нарушение законов:

«От унии происходят оскорбления, преследования, конфискация, приостановление судебных приговоров, лишения чинов, заключения в темницы, казни, изгнания из отечества, и всё это делается над народом русским беспрестанно... владыка полоцкий... запирает церкви, преследует священников, вырывает гробы православных и выбрасывает их тела на снежение собакам. О нечестие, о невыносимая неволя!»

Но никого, по сути, эти стенания Древинского не волновали и не тревожили — по всей видимости, таких трезвомыслящих людей, как великий канцлер Сапега, в Речи Посполитой более не нашлось, — и меньше всего эти жалобы впечатляли Рутского и самого Кунцевича, как и прежние письма от канцлера.

Осенью 1623 года Кунцевич отправился в Витебск с так называемым пастырским визитом. Православные витебчане, уже к этому времени давно изгнанные из своих городских храмов и устроившие за городом «молитвенные шалаши», прекрасно понимали, что в ходе этой визитации Кунцевича они лишатся и этих жалких своих «шалашей», если не жизнью. Их тревоги и опасения вполне разделяли и жители окрестных литовских местечек и сел, козаки и члены Виленского православного братства. Едва Кунцевич со свитой вошел в Витебск, как тут же по его приказанию был схвачен и заперт на кухне православный священник Илья Давыдович. Горожане ударили в набат, вооруженная толпа ворвалась в архиерейский дом, избива и разметала его слуг, самому Кунцевичу раскроили голову топором и тело выбросили на улицу, где иступленная толпа подвергла его всяческому издевательствам. Затем, оттащив тело к Двине, сняли с него власяницу, наполнили ее камнями, привязали к шее убитого и бросили тело в реку.

Таким был конец Иосафата Кунцевича.

Римский папа Урбан VIII, сведав об убийстве своего ревностного адепта, написал королю Сигизмунду просто и кратко:

«Да будет проклят тот, кто удержит меч свой от крови схизматиков!»

Кто-то когда-то говорил о любви и о прощении?.. «Подставь левую щеку» и «прости им, ибо не ведают, что творят»?.. Полноте!..

Карна не заставила себя ждать — Кунцевич и с речного дна мстил витебчанам — 93 человека были приговорены к смертной казни, 74 человека из них бежали из города еще до суда, 19-ти были отрублены головы, имущество приговоренных было конфисковано, король своей властью лишил город Магдебургского права, ратушу разрушили, колокола были отняты у всех храмов, уже прежде захваченных униатами, разрушены два шалаша за городом, в которых молились гонимые, как при Диоклетиане; витебчан по судовому постановлению обязали за свой счет отстроить соборную церковь, при которой убит был Кунцевич. Тело его выловили из реки и погребли в Полоцке. Урбан VIII удостоил похвалы короля за такой суд и расправу.

После гибели Кунцевича королевские власти обвинили православного, но незаконного в глазах короля архиепископа Мелетия Смотрицкого, поставленного на Полоцкую кафедру «турецким шпионом» патриархом Иерусалимским Феофаном в 1620 году, в подстрекательстве к этому громкому убийству. Против Смотрицкого Сигизмунд издал еще в 1621 году три грамоты, объявив того самозванцем, врагом государства, оскорбителем величества и подстрекателем, которого следует арестовать и судить. Теперь же Смотрицкий решил выехать от греха подальше за границы Речи Посполитой, и в начале 1624 года отправился на Ближний Восток, побывал в Иерусалиме и Египте; через Константинополь в 1626 году вернулся в Киев. В июне 1627 года, после некоторых колебаний, Смотрицкий... стал униатом. Причины этого перехода толкуются по-разному, и единого мнения нет. Может быть, смерть Кунцевича и последующие казни так повлияли на его впечатлительную натуру, что душа его возжелала некоего примирения и духовного покоя, которые, по его мнению, были достижимы исключительно в принятии унии, может быть, церковные нестроения и тотальная симония, т.е. покупка за золото патриаршества кандидатами у султана в Османской империи, увиденные воочию, поколебали его уверенность в незамутненности православия са-

мих восточных патриархов, но таким уж печальным был результат: яркий антикатолический полемист, автор книг, ставших классикой жанра, а также первый русский филолог, составивший знаменитую «Граматику славенскую», на последующие века ставшую основой русского образования, за несколько лет до смерти отступил от православия и даже написал «Апологию», в которой обвинял бывших единоверцев в разных ересьях и призывал присоединиться к католицизму. Правда, за эту «Апологию» его едва не убили в Киеве, и в страхе Смотрицкий публично отрекся от книги, подписав акт, проклинающий ее, и поправ ее листы ногами перед лицом собравшихся и негодующих киевлян.

«Острожский летописец» содержит такую запись:

«1629. Мелетий Смотрицкий, архиепископ Полоцкий, будучи православный для архимандритства Дерманского монастыря, отступив восточныя церкви и стався хулником на церковь восточную святую. Потом тую свою ересь и писмо проклинав и палил и топтал у монастыре Печерском при службе Божей и при соборе. Потом паки солгав Духу Святому, и бысть хулник на святую церковь и на патриархи, а хвалця папешский, кламца на святых Божиих. И умре в таком зломудрии своем».

Оказавшись в кругу людей, с которыми всю жизнь боролся, покинутый старыми друзьями, больной Мелетий Смотрицкий, оставаясь в Дерманском монастыре на Волини, больше ничего не написал и не опубликовал.

Как заглянуть было мне в его душу? Как понять это отступление, этот духовный и человеческий крах блистательного ученого, богослова, оратора, православного архиепископа Полоцкого и писателя, выдающегося филолога и педагога, настоящего энциклопедиста, волею судьбы брошенного в жестокий и воинственный век, в котором на своем месте был разве что Иосафат Кунцевич, но никак не Мелетий Смотрицкий, ставший отступником от того, чему когда-то служил?

Иосафат победил... Не прошло и полугода, как в апреле 1624 года папа Урбан VIII начал беатификационный процесс «Слуги Божьего Иосафата Кунцевича». После большого числа слушаний и допросов 16 мая 1641 года папа Урбан VIII провозгласил Кунцевича «блаженным». Папа Пий IX, в свою очередь, в 1867 году причислил его ко святым, провозгласив его патроном для Руси и Польши. В 1923 году римский понтифик Пий XI назвал Кунцевича «апостолом единения».

Униатские составители «жития святого великомученика Иосафата», который называл современные ему православные храмы не иначе, как синагогами, приводят такую фразу его, неизвестно где и как ими добытую, но верную по сути своей:

«Подай се Боже, чтоб я мог за Христа, за веру соединенную, за церковь и за первенство папы жизнь отдать!»

Тут примечательно последнее пожелание Иосафата, за что и провозглашен он ныне «апостолом единения».

Но утопленнику с расколенным черепом и «душехвату» Кунцевичу не суждено было упокоиться в стенах Полоцкого собора. Жестокий, бурный, воинственный век, бесконечные войны Потопа Речи Посполитой, утраты территорий и их возвращение — все сказалось на посмертной судьбе его бранных останков: в 1655 году, когда московские войска заняли Полоцк, униатский архиепископ Антоний Селява бежал с его телом или с тем, что осталось от тела, в Жировицы, откуда оно было перевезено в Замостье. После отвоевания и присоединения Полоцка обратно к Речи Посполитой, останки были возвращены снова на старое место, но в начале 18-го века, когда Полоцк занят был Петром I, увезены от греха подальше в город Белу, где в 1769 году поставлены в униатской церкви святой Варвары для общего поклонения. Полоцкая «реликвия» привлекала массы богомольцев и служила сильным оплотом унии, как отмечают историки этой поры. В 1874 году оставшиеся части тела были замурованы в церковном склепе. В 1917 году «мощи» Иосафата Кунцевича были извлечены из склепа и снова перевезены, на этот раз в Вену, а с 1949 года они находятся ни много, ни мало в базилике Святого Петра в Риме — между гробницами великих светочей православия святителей Иоанна Златоуста и Григория Богослова.

— Не хило, — так прокомментировал это известие мой друг Сероштан.

— Ну а что ты хочешь, — ответил на это я. — Папа Урбан VIII, возглавлявший Римскую церковь дольше всех в 17 веке, не случайно ведь произнес sacramентальную свою фразу *«О, мои русины! Через вас-то надеюсь я достигнуть Востока!»* Потому такая честь и была оказана останкам Иосафата Кунцевича — папа счел благим и достойным и равноценным его «подвиг» по силовому принуждению к унии трудам и делам великих вселенских отцов...

— Но ты, Лешек, не замечаешь важного этого *«через вас»*, — говоря другими словами, малороссы тех лет, как и их наследники украинцы сегодняшние, по сути, не были интересны или нужны особенно Риму. Они были только лишь средством, расходным материалом, топливом для пожара, в котором должна была сгореть Московская Русь.

Вот она — заснеженная, заледеневшая, далекая от всего мира Россия — была и есть тем самым «Востоком» — истинной целью католицизма, суть и смысл которой для меня непонятен и до времени скрыт, — так ответил мне Сероштан.

Мы сидели на берегу тихой Ворсклы в заходящих лучах солнца, которое медленно уходило за черту горизонта, опускалось в глубину и сердце степей, которые испокон века были камнем преткновения для различных держав и от века пребывали в сокровенном молчании. Мы с моим другом жили и влекли свои дни в этом времени, в этом мире, где окружающим нас было все безразлично, кроме понятного, простого, насущного.

— Но это не значит ведь ничего, — сказал я, словно отвечая себе, — не значит, что и мы с тобой должны все это забыть и вменить ни во что.... Но зачем-то все это нужно. Ничего случайного не существует...

Сероштан ничего не ответил. Смотрел в синевящие вечерние степи.

Свет августа. Густой, терпкий воздух нашей родины. Гаснущий, завершающийся еще один день нашей жизни.

Русины... Что о них говорить? Если и сама Речь Посполитая целиком и без остатка была принесена в жертву ради этого «достижения Востока»... Разве не так?..

Глава 14. СТАТЬИ ПРИМИРЕНИЯ И КИЕВСКИЙ МИТРОПОЛИТ ПЕТР МОГИЛА

Тем временем жизнь продолжалась, хотя парадоксальным образом продолжение это начиналось со смерти: в апреле 1632 года, после 45 лет, проведенных на престоле Речи Посполитой, отошел на суд Божий Сигизмунд III из шведской королевской династии Ваза, роковая фигура для народа Южной Руси. За год до этого скончался и митрополит Киевский Иов Борецкий. На место его был избран пожилой Исаия Копинский. Перед конвокационным сеймом православные сплотились вокруг архимандрита Киево-Печерского монастыря Петра Могилы, дабы в который раз истребовать у будущего короля и правительства возвращения прав своей церкви. Королевич Владислав оказался более отзывчивым человеком — в отличие от своего отца, он желал примирения и успокоения религиозной смуты, да и понятно: кому нужны были эти бесконечные словесные баталии в судах и на сеймах между двумя основными конфессиями, то и дело переходящие в вооруженную борьбу, обоюдные насилия и настоящие восстания, заканчивающиеся отнюдь не примирением противоборствующих сторон, но казнями и расправами, ослабляющими и без того обескровленное во внешних войнах польское государство? Владислав согласился рассмотреть на сейме новые жалобы православных, с тем чтобы принять какие-то реальные меры по успокоению общества Речи Посполитой.

Один из послов, прибывших на конвокационный сейм, так рассказывал о «духовном наследии», оставшемся православным от почившего короля:

«В Киеве церковь Св. Софии и другие опустошены, равно как и Выдубицкий монастырь, находящийся во владении униатов. В Луцке церкви обращены в корчмы. В Холме, Львове и других местах запрещено ходить открыто со Святыми Тайнами к больным и провозжать тела умерших христиан до могилы. В Вильне церкви обращены в корчмы, кухни, гостиницы; православных выгнали из магистрата и цехов, и людей невинных заключали в оковы, сажали в подземные тюрьмы ратуши; если кто отказывал по духовному завещанию что-либо на церковь, запрещено было принимать; на шляхетских грунтах, по силе королевской грамоты, не допускали ставить каменную церковь (Свято-Духовскую); приказами из надворных судов и иными позывами людем невинным причиняли всякое беспокойство и наносили им притеснения и обиды разными другими способами. В Минске церковный плац отдали под татарскую мечеть. В Полоцке принуждали к униции оковами, а других выгнали из города. В Турове насильно отобрали церкви с имуществами и православного владыку (грека Авраамия Стагонского) выгнали из города. В Пинске священников-неуниатов забивали в бочки и мучили. В Орше, Могилеве, Мстиславе и разных других городах церкви запечатывали и не дозволяли молиться Богу даже в шалашах. В Ковне церковь разграбили и церковные земли отобрали. Монастыри Трокский, Лаврищевский, Гродненский и другие до крайности опустошены. В Бельске состоялся такой декрет: если кто из мещан не пойдет за процессией из церкви, то будет казнен смертью. В Мятзеле люди греческой веры были насильно принуждаемы к униции тамошним старостой и осуждены, подобно арианам, на изгнание из города...»

Вместе с просьбами от светских и духовных особ свою просьбу передали на сейм и запорожцы. Здесь уже явно просматривалась некоторая угроза:

«В царствование покойного короля, — писали они, — мы терпели неслыханные

оскорбления... Униаты отстранили от городских должностей добродетельных мещан нашей веры и засмутили сельский народ; дети остаются некрещеными, взрослые сожительствоуют без брачного обряда, умирающие отходят на тот свет без причащения. Пусть уния будет уничтожена; тогда мы со всем русским народом будем полагать живот за целость любезного отечества. Если, сохрани Боже, и далее не будет иначе, мы должны будем искать других мер удовлетворения».

После многодневных разборов и обсуждения все-таки Статьи примирения были выработаны. В них признавались исконные права православия в Речи Посполитой, и отныне православные пользовались такими же правами, как католики и униаты; наконец-то юридически признавалась легитимность православной иерархии — как видим, чтобы достичь этого, потребовалось 12 лет сеймовых препираний и ожесточенной борьбы на местах со множеством человеческих жертв; киевскому митрополиту возвращался Софийский собор, бывший в руках униатов, а также все монастыри и церкви как в Киеве, так и в пределах митрополии; православным епископам предоставлялись кафедры Львовская, Перемышльская, Луцкая и Могилевская, учрежденная вместо Полоцкой, которая вместе с останками убиенного Иосафата осталась за униатами; им же оставлялась митрополия и четыре епархии — Полоцкая, Владимир-Волынская, Пинская и Холмская. Разделили «по-братски» и монастыри. Королевич Владислав утвердил Статьи примирения своей подписью 1 ноября 1632 года. Многолетняя заминка с признанием поставленной патриархом Феофаном иерархии, прежде не признаваемой Сигизмундом III, была разрешена избранием и поставлением новых архиереев. Митрополит Исаия Копинский из-за престарелого возраста был замещен молодым и энергичным архимандритом Петром Могилой, знаменитым духовным писателем и талантливым администратором, принесшим много добра народу Южной Руси.

И, по всей видимости, все налаживалось. Но в феврале 1633 года, на элекционном сейме, собранном в Кракове для коронования Владислава IV, униаты заявили, что не могут согласиться со Статьями примирения без одобрения их папой. Одобрения же, конечно, и не могло быть никакого, ибо к открытию сейма были получены письма от римского первосвященника, порицающие как Владислава, так и митрополита Иосифа Рутского за допущенные ошибки и слабости. Рутский на сейме заявил протест против Статей примирения, присовокупив, что униатские архиереи не отдадут православным захваченных у них некогда церквей и церковных имений, и более того — не откажутся и от новых захватов, но уступят только там, где будут вынуждены к тому силой...

Таким образом, митрополит Иосиф Рутский прямо-таки провоцировал православных к эскалации насилия: хотите получить что-то обратно? — применяйте силу тогда... Понятно, что при наличии на днепровских берегах и в целом на обширных землях Южной Руси значительных вооруженных сил запорожцев и городских козаков этого ожидать было недолго совсем. Каким же был расчет униатского митрополита? Очень простым: применяя силу по осуществлению своих прав, декларируемых Статьями примирения, православные снова были вынуждены нарушать законы Речи Посполитой и таким образом становились бунтовщиками. Любое вооруженное действие квалифицировалось как восстание и подлежало подавлению, наказанию, казням и лишениям прав, — таким образом православные снова выводились за рамки законов, где им, как мнилось митрополиту, и было самое место. И после ожидаемых мятежей и восстаний ни о каких Статьях примирения нечего было бы и толковать.

Сегодня, рассуждая об этом и пытаясь понять хоть что-то в побудительных мотивах Рутского и его клеветов в деле утверждения унии с Римом на землях Южной Руси, населенных миллионами православных, я все не мог для себя уяснить: неужели митрополит не понимал, что играет с огнем, подобно ребенку, разжигающему малый костерок из щепок на сеновале ради забавы и любопытства, и что в какой-то момент этот сеновал займется пожаром, который невозможно будет уже ничем погасить, и забава обернется не только его собственной смертью, но уничтожением всего государства?.. И вообще, митрополит Рутский, как ни крути, все-таки понимал, ибо имел богословское образование, что со смертью конкретного человека совсем ведь ничего не кончается, но только лишь начинается, — и каков ответ он собирался дать Господу после кончины своей? В каком контексте перечислить все те подвиги и дела, совершенные с его благословения всеми этими кунцевичами и прочими ревнивыми не по разуму приверженцами римских пап и их мнимого, ложного первенства?

— Лешек, ты же католик? — как тут снова не вспомнить мне иронический вопрос Сероштану летом 1982 года, когда мы рассуждали обо всех этих делах, встретившись в очередной раз в Кобеляках. — Так что ты буровишь тогда?..

— Я, к сожалению, не католик, — сказал я, — и тебе не нужно объяснять почему. По тем же причинам, что и ты никакой не православный. Мы с тобой — обобществленные дети советов, некогда октябрята-пионеры-и-комсомольцы, а ныне некий лишний балласт в контексте развитого социализма, продовольственной программы, поворота

рек, интернациональной помощи братскому Афганистану и неустанной борьбе за мир лично товарища Леонида Ильича Брежнева...

— Но-но, — рассмеялся мой друг, — не диссидентствуй особо! Наслушался вражеских «голосов»? Тебя бесплатно учили в университете, а теперь ты — балласт? Еще послужишь социалистической Родине в Недрыгайловке...

— А если бы я был все же католиком, как вроде бы подразумевает мое формальное по паспорту происхождение, то после всего, что я узнал на сегодняшний день о Брестском соборе и о всем том, что произошло на Украине после него, после гибели Речи Посполитой в огне религиозной войны...

— Ну вот, снова завел ты волюнку свою!.. — перебил меня Сероштан.

— ...я бы демонстративно перешел в православие, чтобы быть вместе с гонимым и угнетаемым, несчастным народом!..

— Ну и к чему этот твой пафос? И вообще — за чем дело тут стало? Съезди в Крюков, найди там возле музея Макаренко-воспитателя церковь и поговори со священником обо всем этом... Да только, боюсь, ничего не скажет он тебе, потому что ты подкован уже в этом вопросе такими познаниями, которыми священник не обладает. Да они ему и не нужны вовсе. Думаешь, он читал «Фринос», или «Акты», или Иоанна из Вишни?.. Слышал что-то о Рутском и святом мученике полоцком Иосафате Кунцевиче, «апостоле единения» и покровителе Украины? Как тут не помянуть Владимира Владимировича с его бессмертным и точным относительно нас: «Товарищ Ленин, работа адская будет сделана и делается уже»... Поэтому...

— Успокоиться?

— На это ответа у меня нет, — сказал Сероштан, — может быть — да, а может быть — нет...

— И что же все-таки делать? — не унимался я.

Сероштан замолчал. До нашего расставания мы больше с ним не заговаривали об этом.

Тем не менее, новый король Владислав IV Ваза весьма отличался от своего отца Сигизмунда и, несмотря на недовольство и неблагословение папы Урбана VIII, утвердил выбор в Киевского митрополита Петра Могилы и даже дал ему право на преобразование Киевского братского училища в коллегию, которая позже стала называться Киево-Могилянской академией — она стала первым в Восточной Европе православным высшим учебным заведением, официально удостоенным этого звания. Практически весь сонм архиереев 18-го столетия в имперской России получил образование именно здесь. Константинопольский патриарх дал свое благословение на избрание, после чего Петр Могила был рукоположен в сан митрополита в единственной православной епархии, оставшейся после униатского погрома прошедших десятилетий. Этой епархией была, как это ни странно сегодня звучит, Львовская...

После смерти Гедеона Балабана в 1607 году, который не подписал соглашений в Бресте в 1596 году, униаты пытались захватить Львовскую кафедру, но львовяне воспротивились этому с оружием в руках и избрали Иеремию Тиссаровского, который по благословию Константинопольского патриарха стал епископом Волошским, т.е. рукоположенным в Валахии. В самом этом свободном выборе епископа на свою кафедру отчетливо чувствуется сила и влияние Львовского православного братства, его соборная воля, столь часто смущавшая прежних львовских епископов. Так и почивший Гедеон Балабан довольно долго колебался между Римом и Константинополем как раз из-за Львовского братства, и только в последний момент, переступив через накопившиеся обиды и претензии к братчикам, все-таки остался православным и не подписал решений об унии с Римом. Вернувшись из Валахии, епископ Иеремия прежде всего успокоил паству окружным посланием, в котором заявлял о своей верности православию и увещевал львовян и прочих жителей Червонной Руси стоять непоколебимо в своей отеческой вере, несмотря ни на какие гонения от ее врагов.

К этому-то, единственному признаваемому польским правительством иерарху, последнему православному епископу Южной Руси, и отправился Петр Могила с тремя епископами, посвященными в сан патриархом Феофаном в 1620 году. В братской Успенской церкви в присутствии всего Львовского братства и множества православных дворян совершилось торжество посвящения в епископский сан нового Киевского митрополита.

Петр Могила прославился на века множеством судьбоносных дел и свершений, которые он успел претворить в жизнь за сравнительно недолгие свои годы. Я задавался вопросом, кто был бы равен ему по значению, припоминая предшественников Могилы на Киевской митрополии, и не находил таковых. Если бы он оказался во главе Русской церкви на полвека раньше, во времена Онисифора Девочки и Михаила Рагозы, никакой Брест с Терлецким и Поцеем был бы просто немислим. Но историю можно, вероятно, переписать и исказить до невозможности, как это делали записные исто-

рики марксистской поры, но нельзя повернуть вспять и переиначить свершившиеся события.

Поэтому я, будучи книжным червем, не буду рассказывать здесь о строительных, археологических и прочих деяниях митрополита Петра, которые тоже были значительны и обширны весьма, а также и о преобразовании им Киевской братской школы в знаменитую Академию, но ограничусь книжной справой и вероучительными заботами его.

Понятно, что Киевскую митрополию Петр Могила принял в крайне расстроеном состоянии — да и что, по сути, могли сделать его предшественники? Михаил Рагоза был униатом, и кафедра двоствовала, можно сказать, четверть века, прежде чем патриарх Феофан не поставил в Киев Иова Борецкого, который был стреляным воробьем, стиснутым в державном кулаке — считался нелегитимным, преступником, агентом Османской империи и еще Бог знает кем, запорожцы, в свою очередь, подозревали его в склонности к униатству, — и ему приходилось разве что физически выживать в то бурное время.

Впрочем, время всегда оставалось таким.

Его преемник Исаия Копинский, в бытность еще архимандритом, основал разве что Густынский монастырь под Черниговом и Мгарский монастырь под Лубнами, хотя, по сегодняшним временам, это вовсе немало, конечно. Будучи рукоположен патриархом Феофаном в епископа Перемышльского, до Перемышля так и не добрался, угрожая польским правительством, с 1628 года, будучи уже епископом Черниговским, жил в заднепровских монастырях, опять-таки тайно, можно сказать, на нелегальном положении. В 1631 году он был избран в преемники почившему Иову Борецкому, но через год его оттеснил молодой и амбициозный архимандрит Киево-Печерской лавры Петр Могила. И здесь тоже не обошлось без насилия, столь свойственного этому бурному и злосчастному веку: после рукоположения во Львове новый митрополит приказал привести к покорности и послушанию обычными методами упорствующего смещенного митрополита. Престарелого и больного Исаию Копинского ночью схватили в Киево-Михайловском монастыре, где он настоятельствова, и в одной власнице, перебросивши через коня, «словно куль», как сообщают летописцы, перевезли в Киево-Печерскую обитель, где некоторое время даже держали под замком. Последние годы Копинский провел в Полесье, с титулом архиепископа Северского, и ничего, кроме составления сборника нравственных изречений «Духовная лествица», после себя не оставил.

Но даже столь скромный итог для сегодняшних смутных времен может считаться весьма существенным: основание и устройство двух прославленных монастырей, опасное во всех смыслах существование в чине подпольного архиерея на протяжении десятилетия, избрание на высшую ступень православной иерархии и, наконец, «Духовная лествица»... А ведь мог не делать этого ничего, стать униатом и вести рассеянную и веселую жизнь, по примеру злосчастного Кирилла Терлецкого, который не гнушался даже насилловать всяких там «девок Палашек», не говоря о других криминальных забавах и озорстве, ни во что не ставя судебные позы для расследования своих преступлений.

Конечно, с митрополитом Петром Могиллой никто сравниться не может по значению и по совокупности дел в церковной истории Руси-Украины с древнейших времен русских князей и по эту пору 21-го века. («Разве что анафемствованный Филарет Денисенко?» — не преминул бы съязвить Сероштан).

Петр Могила первым делом собрал во единое сообщество лучших православных ученых и богословов, поэтов, полемистов и защитников православия. При нем расцвели наука, искусство и национальное образование. Был составлен знаменитый катехизис — «Православное исповедание веры» (1640), «Служебник» (1629, одобренный еще Иовом Борецким и переизданный в 1639-м году), «Требник Петра Могилы» (1646), использовавшийся церковью буквально до последних времен и даже переизданный в 1990-х годах, уже в новейшее время, издано «Учительное Евангелие» (1637), «Анфологион, сиречь молитвы и поучения душеполезные в душевную пользу сцудеев» (1636) — я даже затрудняюсь сказать, как без этих основополагающих сводов и книг тогдашнее духовенство совершало богослужение и как вообще духовно существовало православное посольство. Наличие этих проблем нашло отражение в окружном послании к духовенству перед собором 1640 года в Киеве:

«Наша церковь, оставаясь ненарушимою в догматах веры, сильно искажена в том, что касается обычаев, молитв и благочестивого жития. Многие православные от частого посещения богослужений иноверцев и слушания их поучений заразились ересью, так что трудно распознать: истинно ли они православные или одним только именем? Другие же, не только светские, но и духовные, прямо покинули Православие и перешли к разным богомерзким сектам. Духовный и монашеский сан перешел в

нестроение; настоятели не заботятся о порядке и совсем уклонились от примера древних отцов церкви. В братствах отвергнута ревность и нравы предков; каждый делает что хочет...»

Снова, как в начале 17-го века, расцветает полемическая литература. Митрополит сам сочинил «Литос, или Камень, брошенный с пращи истины святой Православной русской церкви...» Это была апологетика против нападений униатов и римо-католиков, а отчасти и ее литургика с объяснением богослужения, таинств и обрядов, постов, праздников, устройства храмов и прочее. В Москве, по указу царя Алексея Михайловича, книга эта под названием «Камень» в славянском переводе списана была еще в 1652 году.

Московский митрополит Макарий Булгаков в 1857 году в «Истории Русской церкви» писал:

«Имя Петра Могилы — одно из лучших украшений нашей церковной истории. Он, несомненно, превосходил всех современных ему иерархов не только Малорусской, но и Великорусской церкви и даже всей церкви Восточной, — превосходил своим просвещением, еще более — своею любовью к просвещению и своими подвигами на пользу просвещения и церкви. Для своей Малорусской церкви он оказал величайшую услугу тем, что отстаивал перед королем Владиславом IV главнейшие ее права, поруганные латинянами и униатами, и мужественно защищал ее в продолжение всего архиепископского служения; восстановил в ней многое, прежде ниспровергнутое или разрушенное врагами, и положил в ней начало для лучшего порядка вещей. Всей Русской церкви оказал великую услугу основанием и обеспечением своей коллегии, послужившей первым рассадником и образцом для духовно-учебных заведений в России. Всей православной Восточной церкви — тем, что заботился составить „Православное исповедание“, принятое и одобренное всеми ее первосвященниками и доселе остающееся ее символическою книгою.»

В своем «Литосе-камне» митрополит так характеризует современных ему униатов:

«Неудивительно, что тебе, новообращенному рачителю римского костела, хочется весь римский чин перенести в Восточную церковь! Как сам ты с одним ухом, так хочешь, чтобы все люди были одноухие и порезали бы себе уши!»

Но он вовсе не против соединения церквей:

«Восточная церковь всегда просит Бога о соединении церквей, но не о таком соединении, какова нынешняя уния, которая гонит людей к соединению глубинами, тюрмами, несправедливыми процессами и всякого рода насилиями. Такая уния производит не соединение, а разделение...»

А вот в каких сильных выражениях он обращается к отступнику:

«Вместо того, чтобы порицать православных, посмотри лучше на свою братию униатов, что они делают с монастырями и церквами, которые наделены были именьями. Мало ли было фундушей у славного монастыря в Литве Супрасльского? Теперь до чего он доведен униатами? Там было... до ста или, по меньшей мере, до осьмидесяти человек братии, при архимандрите, кроме певчих, а ныне живет едва несколько монахов... Где те древние иконы, которые со всех сторон обиты были серебряными позлащенными досками? И узнаешь, что униаты употребили их на свои прихоти, а в церкви вместо серебряных поставили иконы полотняные италийские... Посмотри на монастырь Черейский, где под нашим управлением жило несколько десятков иноков и каждый день славилось имя Божие. Ныне он стоит пустой; в нем не живет ни одного человека. Посмотри на монастырь Новогородский, к которому отчислили села и именья лавришовские: несомненно, там не найдешь больше четырех или пяти иноков, а в церкви этого монастыря, которая есть кафедральная митрополичья, увидишь бумажные иконы... Посмотри на монастырь, называемый Лещь (Лещинский): там увидишь едва одного монаха, а иногда и одного не бывает... Опускаю иные, меньшие монастыри в Литве, которые вашу унию до основания ниспровергнуты. Пойди еще на Вольню и спроси, что гееется в старожитном Жидичинском монастыре, много ли там живет иноков, что там за чин. Посмотри на старожитный монастырь Дорогобужский: не одного ли только архимандрита с послушником увидишь ты там?.. Посмотри и на мирские церкви, из которых иные наделены были богатым имуществом, а иные скудным: до чего доведены они под управлением ваших униатов? Пойди теперь только в Вильну и спроси: кто теперь живет на том месте, где построена была церковь св. Параскевы мученицы? Тебе укажут, что там стоит теперь корчма и дом позорный. Пойди в Минск и спроси: на каком месте стоит мечеть татарская? Ты узнаешь, что на том месте, где прежде была церковь во имя Рождества Господа нашего Иисуса Христа... Так-то униатская ревность о благочестии умножает славу Божию на Руси!»

Статьи примирения так и остались только лишь на бумаге — своеволие польской шляхты и безнаказанность униатов практически связывали руки короля Владислава IV. Никто ничего не хотел отдавать и делиться, никто не хотел мира и любви, деклари-

руемых вроде бы римскими папами, латинскими бискупами и епископами-униатами: на богослужении и в проповедях говорилось одно, а в жизни совершалось все по-другому, — правда, под видом таки благочестия и искоренения ереси, «схизмы», каковой почиталось православное исповедание веры.

Листая судовые акты тех лет, я снова и снова наткнулся на такие обыденные констатации текущих событий: 2 мая 1634 года католики в Луцке совершали крестный ход со святыми дарами, и вот, ни с того, ни с сего около ста человек, вооруженных саблями, кортиками и ружьями, ворвались в православный Крестовоздвиженский монастырь под предлогом, что монастырь не приветствовал их крестный ход звоном колоколов. Одни бросились на колокольню, начали звонить и неистово кричать, а другие ворвались в церковь, опрокинули подсвечники, посрывали завесы, ковры и т.д. Третьи бросились в братские кельи, в училище и богадельню, били, рубили, кололи как мальчишек-учеников, так и иноков, стариков и старух. Игумену Исаакию нанесли удары камнями и кирпичами по рукам и спине, учителю Босынскому отрубили палец на руке, многим разбили головы, выбили глаза, зубы... Затем разбили два сундука с деньгами и деньги украли. Причинили и другой ущерб. Через несколько дней погромщики снова собрались в отряд и напали на дом православного Николая Лихновича, затем бродили по улицам, вылавливая и мучая православных мещан, уже в сумерках схватили дворянина Ивана Ломинского, о котором было известно, что он прислуживал епископу Луцкому Афанасию Пузыне, и перед домом ксендза Ласского, *с его благословения*, забили до смерти палками. В Дрогичине староста Лешневольский отнял у православных три церкви и выгнал священников их из города, лишив имущества. Прочих же горожан преследовал разными способами — бил, заключал в узилище и т.п. Король Владислав лично распорядился вернуть захваченные церкви их исконным владельцам, но староста распоряжения этого не исполнил...

Вот такой, по сути, и была реальная власть короля...

Могло ли такое положение дел закончиться чем-то другим, а не открытым всеобщим восстанием, переросшим в губительную для Речи Посполитой войну?..

Не лучшим было положение в Бельске, который входил в епархию того же Афанасия Пузыны. Местные «соединенные» пытались принудить православных священников к униии, но, потерпев неудачу, пригласили на помощь бравого ротмистра Яна Сокола, при котором было более ста пехотинцев, и напали сперва на Богоявленскую, а затем на Никольскую и Воскресенскую церкви, отняли их у владельцев, запечатали своими печатями, бесчестя при том православных; одних избили жестоко, других ранили, а наместника о. Паисия взяли под стражу, выдрали бороду, и, наконец, заключили в оковы... 9 января 1644 года священником Никольской церкви в том же Бельске была принесена жалоба на униатского священника Ивана Малишевского в том, что он издавна преследует православных, отнимает у них скот, подвергает аресту тела их умерших, нападает на священников посреди улицы и недавно же, когда приносящий жалобу священник возвращался вместе с причетниками от больного со святыми дарами, заступил ему дорогу, ругательно поносил его, бил, таскал за волосы по земле, давил его коленями, стащил с него епитрахиль и иноческое одеяние, отнял у него потир с лжицею и «воздухами» и во время побоев пролил на землю из потира не потребленные болящим частицы тела и крови христовой. Все, добытое с бою, присвоил себе...

Митрополит Петр Могила скончался 1 января 1647 года, на пятидесятом году жизни. Он завещал Киевской коллегии 81 тысячу польских золотых, всю свою библиотеку, четверть своего серебра и многие ценные вещи. Сегодня он причислен к лику общерусских святых Русской православной церковью.

После его кончины на защиту веры и православного люда Южной Руси выступила новая сила.

Продолжение следует